

Генрик Сенкевич

# Пан Володыевский



Трилогия

Генрик Сенкевич  
**Пан Володыевский**

«Public Domain»

1888

## **Сенкевич Г.**

Пан Володыевский / Г. Сенкевич — «Public Domain»,  
1888 — (Трилогия)

«По окончании венгерской войны и после женитьбы пана Андрея Кмицица на панне Александре Биллевич должен был вступить в законный брак с панной Анной Божобогатой-Красенской не менее прославленный воин Речи Посполитой пан Юрий-Михал Володыевский, полковник Ляуданского полка. Но встретились препятствия, которые заставили отложить свадьбу на довольно долгое время. Панна Божобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и ни за что не соглашалась выйти замуж без ее разрешения; ввиду этого пан Михал вынужден был оставить панну в Водоктах, так как время было беспокойное, а сам отправился в Замостье за благословением и разрешением княгини...»

# Содержание

Вступление	6
Часть первая	7
I	7
II	12
III	15
IV	20
V	23
VI	30
VII	38
VIII	44
IX	49
X	56
XI	61
XII	67
XIII	73
XIV	77
XV	80
XVI	85
Конец ознакомительного фрагмента.	87

# **Генрик Сенкевич**

## **Пан Володыевский**

\* \* \*

## Вступление

По окончании венгерской войны и после женитьбы пана Андрея Кмицица на панне Александре Биллевич должен был вступить в законный брак с панной Анной Божобогатой-Красенской не менее прославленный воин Речи Посполитой пан Юрий-Михал Володыевский, полковник Ляуданского полка.

Но встретились препятствия, которые заставили отложить свадьбу на довольно долгое время. Панна Божобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и ни за что не соглашалась выйти замуж без ее разрешения; ввиду этого пан Михал вынужден был оставить панну в Водоктах, так как время было беспокойное, а сам отправился в Замостье за благословением и разрешением княгини.

Но судьба не благоприятствовала ему: он не застал княгини в Замостье. Чтобы дать сыну хорошее воспитание, она переехала в Вену к императорскому двору. Неутомимый рыцарь последовал за нею в Вену, хотя это отняло у него много времени. Благополучно окончив это дело, он, счастливый и полный надежд, возвратился на родину.

Когда он вернулся, время было тревожное: часть войск отказала в повиновении, восстание на Украине продолжалось, а пожар на востоке все не потухал. Стали собирать новые войска, чтобы хоть как-нибудь защитить границы. Но еще ранее, прежде чем пан Михал доехал до Варшавы, он получил письма, адресованные на его имя по приказанию воеводы русского. Всегда считая, что отчизна важнее личных дел, он отложил свадьбу и отправился на Украину. Несколько лет воевал он в тех краях, лишь изредка пользуясь свободной минуткой, чтобы послать письмо любимой девушке, и проводя время в боях и в неустанных трудах. Затем он был отправлен послом в Крым; потом случилась несчастная междоусобная война с паном Любомирским, и пан Михал сражался под знаменами короля против этого изменника; потом он снова отправился на Украину с паном Собеским. Слава о его подвигах все росла, и его стали считать первым рыцарем Речи Посполитой; но жизнь его проходила в заботах, тоске и тревоге. Но вот наступил 1668 год, когда он по приказанию пана каштеляна получил разрешение отдохнуть и в начале лета поехал к своей возлюбленной и, взяв ее из Водокт, отправился к Кракову.

Княгиня Гризельда в то время уже вернулась из Вены и предлагала ему сыграть свадьбу у нее, выразив желание быть посаженной матерью невесты.

Кмицицы остались в Водоктах; они не рассчитывали на скорое известие от Володыевского и всецело были заняты новым гостем, который вскоре должен был появиться в Водоктах. Ибо до этих пор Провидение отказывало им в детях; теперь должна была наступить счастливая и столь желанная для них перемена.

Это был очень урожайный год. Жатва была так обильна, что гумна с трудом ее вмещали, и вся страна, во всю ширь и даль, покрылась скирдами. В округах, опустошенных войной, молодой лес так разросся, как в другое время не разросся бы и в два года. В лесах было обилие зверей и грибов, в водах – рыбы; казалось, будто эта необычайная плодovitость земли сообщила и всем живущим на ней существам.

Друзья Володыевского видели в этом хорошее предзнаменование для его женитьбы, судьба решила иначе.

## Часть первая

### I

В один прекрасный осенний день в тени садовой беседки сидел пан Андрей Кмициц и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитую диким хмелем решетку беседки на жену, которая прогуливалась перед беседкой по тщательно выметенной дорожке.

Она была красива необычайно; с ее светлыми волосами и ясным, почти ангельским выражением лица. Она ходила медленно и осторожно, ибо все было в ней полно благодати и благословения. Пан Андрей смотрел на жену влюбленными глазами. Он следил за каждым ее движением с тем выражением привязанности, с каким собака следит глазами за хозяином. Порой он улыбался, так как был очень доволен тем, что видел. И улыбка эта была похожа на улыбку веселого повесы. Рыцарь был, видно, от природы проказник и в свои холостые годы пошалил немало.

Тишина в саду нарушалась лишь шумом падающих на землю спелых плодов и жужжанием насекомых. Погода установилась. Было начало сентября. Солнце уже не припекало, но светило ярко. В этом свете горели красные яблоки среди серой листвы; их было так много, что казалось, будто деревья были ими сплошь облеплены. Ветви слив сгибались под тяжестью плодов, подернутых легким пухом. Первые нитки бабьего лета, зацепившиеся за деревья, колебались от дуновения легкого ветерка, – такого легкого, что он не шелестел даже листьями.

Быть может, и эта погода наполняла душу пана Кмицица радостью. Его лицо сияло все более и более. Наконец, он отхлебнул меду и сказал жене:

- Оленька, поди сюда, я тебе что-то скажу!
- Только не такое, чего я не люблю слушать.
- Да нет же, ей-богу! Дай ушко!

Сказав это, он обнял ее, приблизил свои усы к ее белокурым волосам и прошептал:

- Если будет мальчик, назовем Михалом.

Она отвернула вспыхнувшее лицо и прошептала в свою очередь:

- А ведь ты обещал не спорить, если мы назовем его Гераклием.
- Видишь ли... Это в честь Володыевского.
- А разве память деда не важнее?

– Моего благодетеля?.. Да, правда! Но второго мы назовем Михалом. Иначе и быть не может!

Тут Оленька встала и попыталась освободиться из объятий пана Андрея, но он прижал ее к себе еще сильнее и стал целовать ее в губы, глаза, повторяя:

– Ах ты, мое сокровище! Клад мой бесценный, любя моя! Дальнейший разговор прервал слуга, который показался в конце дорожки и направлялся прямо к беседке.

- Что нужно? – спросил Кмициц, выпуская жену из объятий.

– Пан Харламپ приехал и дожидается в покоях, – сказал слуга.

– А вот и он! – воскликнул Кмициц, увидав мужчину, который шел к беседке. – Господи боже, как у него усы поседали! Здравствуй, дорогой товарищ, здравствуй, старый друге!

С этими словами он выбежал из беседки и бросился навстречу пану Харлампу с распростертыми объятиями. Но пан Харламп сначала низко поклонился Оленьке, которую видывал некогда в Кейданах при дворе князя-воеводы виленского, потом поднес ее руку к своим огромным усам и тогда уже бросился в объятия Кмицица и зарыдал у него на плече.

- Ради бога, что с вами?! – воскликнул удивленный хозяин.

– Одному Бог послал счастье, а у другого отнял его, – ответил Харламп. – Но причину моей печали я могу рассказать только вам.

Тут он взглянул на жену пана Андрея. Она сразу догадалась, что он не хочет говорить при ней, и сказала мужу:

– Я пришлю вам меду, а пока оставлю вас одних!

Кмициц повел Харлампа в беседку и, усадив его на скамейку, спросил:

– Что такое? Тебе нужна помощь? Надейся на меня, как на каменную гору!

– Со мной ничего не случилось, – ответил старый солдат, – в помощи я не нуждаюсь, пока эта рука может владеть саблей. Но наш приятель, достойнейший кавалер Речи Посполитой, в большом горе, не знаю даже, жив ли он еще...

– Господи боже! Уж не приключилось ли чего-нибудь с Володыевским?

– Да! – ответил Харламп, проливая новые потоки слез. – Знайте же, ваць-пане, что Анна Божобогатая покинула сию юдоль скорби!

– Умерла?! – воскликнул Кмициц, хватаясь обеими руками за голову.

– Как птичка, пронзенная стрелой...

Наступила минута молчания. Только яблоки, падая местами, тяжело стукались об землю, только пан Харламп сопел все больше, сдерживая плач. Кмициц ломал себе руки, кивал головой и повторял:

– Боже мой! Боже мой! Боже мой!

– Не удивляйтесь, ваць-пане, моим слезам! – сказал, наконец, Харламп. – Ибо если у вас при одной вести об этом скорбью сжимается сердце, то каково же мне, бывшему свидетелем ее кончины и ее страданий, которые перешли всякие пределы!

Вошел слуга с ковшом и вторым стаканом, а за ним пани Александра, которая не могла побороть свое любопытство. Взглянув на мужа, она прочла в его лице глубокую скорбь и сказала:

– Какие же вести привезли вы, ваць-пане? Не удаляйте меня! Я постараюсь утешить вас по мере сил, или поплачу вместе с вами, или дам вам какой-нибудь совет.

– Уж тут и ты ничем не поможешь! – ответил пан Андрей. – Я боюсь, как бы эта весть не повредила твоему здоровью.

– Я сумею многое вынести, – ответила она. – Незнание еще хуже.

– Ануся умерла! – сказал Кмициц.

Оленька побледнела и тяжело опустилась на скамейку. Кмициц думал, что она лишится чувств, но она только зарыдала, и оба рыцаря ей завторили.

– Оленька, – сказал, наконец, Кмициц, желая отвлечь ее мысли в другую сторону, – разве ты не думаешь, что она в раю?

– Я не из тревоги за нее плачу – я плачу потому, что ее больше нет, и над сиротством пана Михала. Ибо, что касается ее вечного блаженства, то я желала бы и себе такой уверенности в спасении. Другой такой девушки, с таким добрым сердцем, такой честной, не было. Ох, Анулька моя! Милая моя Анулька!

– Я видел ее кончину, – сказал Харламп. – Дай боже каждому такую благочестивую смерть!

Тут опять наступило молчание, и, когда они выплакали горе в слезах, Кмициц сказал:

– Расскажите, ваць-пане, как было дело, а в наиболее скорбных местах подкрепляйтесь медом!

– Благодарю, выпью, если и вы не откажетесь. Горе хватает не только за сердце, но и за горло, точно волк, а когда схватит, то, если останешься без помощи, и задушить может. Дело было так. Я ехал из Ченстохова в свою родную сторону, чтобы на старости лет отдохнуть и взять какое-нибудь имение в аренду. Довольно было с меня войны, ведь я служить стал подростком, а дожил до седых волос. Если уж мне совсем невмочь будет сидеть без дела, я, пожалуй, зачис-



люсь в какой-нибудь полк; но те союзные войска, что собираются на погибель отчизне и на потеху врагам, и эти междоусобные войны внушили мне отвращение к Беллоне. Господи боже! Пеликан кормит детей собственной кровью, но у нашей отчизны и крови уже не стало. Сви-дерский был великий воин. Пусть там Господь его судит.

– Ануля, моя дорогая! – прервала с плачем пани Кмициц. – Без тебя что случилось бы со мной и со всеми нами? Ты была нам утешением и защитой! Анулька, моя дорогая!

Харламп, услышав это, опять всплакнул, но Кмициц прервал его вопросом:

– Где же вы встретились с Володыевским?

– С Володыевским я встретился в Ченстохове, где были они оба, исполняя данный обет.

При встрече он тотчас же мне сказал, что приехал с невестой из ваших краев, направляясь в Краков к княгине Гризельде Вишневецкой, ибо без ее разрешения и благословения панна никак не хочет выходить замуж. В то время панна была еще здорова, а он был весел, как птица. «Смотри, – говорит, – вот дал мне Бог, наконец, награду за мои труды!» И как он гордился тогда! Даже посмеивался надо мной. Когда-то мы с ним, изволите ли видеть, повздорили из-за нее и хотели драться. Где-то она теперь, бедняжка...

И опять всплакнул пан Харламп, но ненадолго. Кмициц снова его прервал:

– Вы говорите, что она была здорова? Откуда же это так вдруг случилось?

– Да, именно вдруг! Гостила в Ченстохове пани Замойская с мужем, и панна Анна жила у нее. Пан Володыевский просиживал с нею целые дни, жаловался, что дело идет так медленно, что по дороге их все задерживают, что в Краков они приедут не раньше чем через год. И неудивительно. Такого солдата, как пан Володыевский, каждый рад угостить, и кто его поймает, тот не скоро отпустит. Он водил меня к своей панне и грозил, шутя, что если я влюблюсь, то он меня зарубит. Она же души в нем не чаяла. А мне порой, действительно, становилось грустно при мысли, что на старости лет я один как перст. Ну, да что! Однажды ночью вбегает ко мне Володыевский, сильно встревоженный. «Ради бога, – говорит, – не знаешь ли ты здесь какого-нибудь медика?» – «Что случилось?» – «Больна, никого не узнает». Спрашиваю, когда захворала. Говорит, что только сейчас ему дали знать от пани Замойской. А тут ночь! Где же искать медика? В монастыре его нет, а в городе одни развалины. Наконец я нашел фельдшера, да и тот не хотел ехать, пришлось его гнать дубинкой до самого места. Но там уже ксендз был нужнее, чем медик; и мы уже застали там отца паулина, который своими молитвами привел ее в чувство, так что она могла приобщиться святых Тайн и нежно проститься с паном Михалом. На другой день в полдень ее уже не стало. Фельдшер говорил, что ее сглазили, да это невероятно: в Ченстохове чары недействительны. Но что с паном Володыевским было! Что он говорил!.. Надеюсь, Господь Бог простит его: в такой скорби человек со словами не считается. Словом, говорю я вам, – пан Харламп понизил голос, – богохульствовал, себя не помня!

– Господи боже! Богохульствовал?! – прошептал Кмициц.

– Выбежал от одра покойницы в сени, из сеней во двор и шатался, как пьяный. Поднял кулаки к небу и кричал неистовым голосом: «Так вот мне награда за мои раны, за труды, за кровь, за любовь к отчизне?.. Один, – говорит, – был у меня ягненок, и того ты, Боже, отнял! Поразить вооруженного мужа, надменно ступающего по земле, – дело, достойное рук Господних, но задушить невинную голубку смог бы и кот, и ястреб, и коршун, и...»

– Ради бога, – воскликнула пани Александра, – не повторяйте этого, вы еще несчастье и на наш дом накличете!

Харламп перекрестился и продолжал:

– Думал солдатик, что дослужился, а вот какая награда! Но ведь Господь лучше знает, что делает, хоть мы этого не можем разумом постичь и справедливостью нашей измерить. После всех этих богохульств он обессилел и упал на землю, а ксендз стал читать над ним молитвы, чтобы отогнать злых духов: их легко могли привлечь его богохульные слова.

– Он скоро пришел в себя?

– С час лежал замертво, потом очнулся и, вернувшись в свою квартиру, никого не хотел видеть. Во время похорон я сказал ему: «Пан Михал, уповай на Бога!» Он молчал. Три дня просидел я еще в Ченстохове – жаль мне было оставить его одного, но даром стучался в его двери. Не захотел меня видеть. Я долго раздумывал, что делать, продолжать ли стучаться или уехать? Как же оставить такого человека без всякого утешения? Но, убедившись, что с ним ничего не поделаешь, я решил ехать к Скетускому. Он и пан Заглоба – его лучшие друзья; быть может, они сумеют что-нибудь сделать, особенно же пан Заглоба: он человек ловкий и знает, как с кем разговаривать...

– И были вы у Скетуского?

– Был, но и тут мне не повезло: оба они с Заглобой отправились в Калишский повет к ротмистру пану Станиславу. Никто не мог сказать, когда они возвратятся. Тогда я подумал: Жмудь мне по дороге, я заеду к вам и расскажу, что случилось.

– Я давно знаю, что вы достойный кавалер! – сказал Кмициц.

– Дело не во мне, а в Володыевском, – ответил Харлам, – и должен признаться, что я боюсь, как бы он не помешался!

– Господь сохранит его от этого, – сказала пани Александра.

– Если и сохранит, то все же он, наверное, пойдет в монахи: в жизни я не видал такой глубокой скорби... Эх, жаль солдата, жаль!

– Почему же жаль? Приумножится слава Господня! – отозвалась пани Александра.

Харлам повел усами и потер лоб.

– Изволите ли видеть... либо приумножится, либо не приумножится... Вспомните, сколько еретиков и язычников он истребил в своей жизни, а этим, полагаю, он больше угодил Спасителю и его Пресвятой Матери, чем любой ксендз проповедями. Гм... стоит над этим призадуматься... Пусть каждый служит Богу по мере своих сил... Конечно, между иезуитами найдется много таких, что поумнее его, но другой такой сабли не сыщешь во всей Речи Посполитой.

– Твоя правда, видит бог! – сказал Кмициц. – Ты не знаешь, остался он в Ченстохове или уехал?

– Он был там до моего отъезда. Что он сделал потом, не знаю. Знаю только, что надо бояться за его рассудок и здоровье... Болезнь зачастую – спутник отчаяния. А он один, без родных, без друзей, некому его утешить.

– Да хранит тебя Пресвятая Дева в своей обители, верный друг! Родной брат не сделал бы для меня столько, сколько сделал ты! – воскликнул Кмициц.

Пани Александра глубоко задумалась; молчание продолжалось долго; наконец она подняла свою русую головку и сказала:

– Ендрек, ты помнишь, чем мы ему обязаны?

– Если я забуду, мне придется глаза у дворового пса одолжить – своими стыдно будет на честного человека смотреть.

– Ендрек, ты не можешь его так оставить.

– Как же это?

– Поезжай к нему.

– Вот это настоящее женское сердце, – добрая пани! – воскликнул Харлам и, схватив руки пани Александры, стал покрывать их поцелуями...

Но совет жены не пришелся Кмицицу по вкусу; он покачал головой и сказал:

– Я бы для него на край света поехал, но... ты сама знаешь... будь ты здорова, – другое дело... Но ты сама знаешь... Сохрани бог, какой-нибудь испуг, какая-нибудь неосторожность... Я умер бы от беспокойства! Жена дороже лучшего друга! Пана Михала мне жаль... но ты сама знаешь...

– Я останусь под опекой ляуданцев. Теперь здесь спокойно, и бояться нечего. Без воли Божьей ни один волос не упадет с моей головы... А там, быть может, пан Михал в спасении нуждается.

– Ох, и как нуждается! – вставил Харламп.

– Слышишь, Ендрек? Я здорова. Меня здесь никто не обидит. Я знаю, что тебе нелегко уезжать...

– Легче с голыми руками против пушек идти, – сказал Кмициц.

– А ты думаешь, что, оставшись здесь, ты не будешь себя упрекать, что лучшего друга покинул в горе? Как бы Господь в справедливом гневе не лишил нас своего благословения!

– Ты меня в самое сердце кольнула! Говоришь, Бог может лишить нас благословения? Это было бы ужасно!

– Спасать такого друга, как пан Михал, – священная обязанность.

– Да ведь я люблю пана Михала от всего сердца! Ну, что ж делать! Если ехать, то надо спешить – здесь каждая минута дорога. Сейчас иду на конюшню. Видит бог, тут ничего другого не придумаешь... И понесла же нелегкая тех двоих в Калиш! Ведь не о себе беспокоюсь я, а о тебе, сокровище мое! Я предпочел бы все состояние потерять, чем прожить один день без тебя. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я тебя когда-нибудь покину не для защиты отчизны, я бы его саблей к земле пригвоздил. Ты говоришь: долг? Пусть будет так. Дурак, кто долго раздумывает! Ни для кого другого, кроме Михала, я бы этого не сделал.

Потом он обратился к Харлампу:

– Мосци-пане, прошу со мной на конюшню, осмотреть лошадей. А ты, Оленька, прикажи уложить мои вещи. Пусть кто-нибудь из ляуданцев присмотрит за молотьбой... Пан Харламп, вы должны у нас погостить хоть две недельки – присмотреть за женой. Может быть, найдете какую-нибудь аренду поблизости. Берите Любич, а? Пойдем на конюшню. Через час надо ехать. Коли надо, так надо.

## II

Еще задолго до захода солнца Кмициц отправился в путь; жена простилась с ним со слезами и дала ему на дорогу крест, в котором была частица Животворящего Креста. А так как пан Кмициц давно уже привык к стремительным походам, то, двинувшись, он так гнал лошадь, точно преследовал убежавших с добычей татар.

Доехав до Вильны, он отправился на Гродну, Белосток и оттуда в Седлец. Проезжая через Луков, он узнал, что Скшетуские с детьми и паном Заглобой еще накануне вернулись из Калиша, и он решил заехать к ним, чтобы вместе придумать, как спасти Володыевского.

Они были очень удивлены и обрадованы его приездом. Но радость их сменилась печалью, когда он сообщил о причине своего посещения. Пан Заглоба не мог успокоиться весь день и, сидя над прудом, так плакал, что, как он говорил потом, вода вышла из берегов и пришлось открывать шлюзы. Но выплакавшись, он все обдумал, и вот что посоветовал:

– Ян не может ехать – он выбран в депутаты; дел будет немало, – как всегда после стольких войн, волнение еще не улеглось. Из того, что говорит пан Кмициц, видно, что аисты зимуют в Водоктах, ибо их причислили там к рабочему инвентарю, и им придется сделать свое дело. Не диво, что при таком хозяйстве ему не очень сподручно пускаться в путь, тем более что он не знает, сколько на это потребуется времени. Еще раз доказал он тем, что выехал, доброту своей души, но чтобы быть искренним, я скажу: возвращайтесь! Здесь нужен более близкий друг, который не обидится, если его не захотят принять и будут еще ворчать на него. Тут нужны и терпение, и опыт, а у вас только сильная дружба к Михалу, но она в таких случаях беспомощна. Не сердитесь: вы должны согласиться, что оба мы с паном Яном его давнишние друзья и пережили вместе немало тяжелых минут. Боже мой! Сколько раз он спасал меня, а я его!

– А если бы я отказался от обязанностей депутата? – прервал Скшетуский.

– Ян, это общественное дело! – строго ответил Заглоба.

– Видит бог, – говорил огорченный Скшетуский, – что моего двоюродного брата Станислава я люблю искренне, как родного брата, но Михал все-таки мне ближе.

– А мне он ближе родного, тем более что родного у меня никогда не было. Но не время спорить о чувствах! Видишь ли, Ян, если бы это несчастье только сейчас обрушилось на пана Михала, я бы первый тебе сказал: «Брось к черту депутатские полномочия и поезжай к Михалу». Но ведь сколько времени прошло с тех пор, как Харламп уехал из Ченстохова на Жмудь, а пан Кмициц из Жмуди к нам. Теперь надо не только ехать к пану Михалу, но и оставаться с ним, не только плакать с ним вместе, но и убеждать; не только ставить ему в пример Распятого, но и стараться развлечь его шутками. Знаете ли вы, кто к нему должен ехать? Я! И поеду, да поможет мне Бог! Если найду его в Ченстохове, привезу сюда, не найду, то пусть бы мне пришлось ехать за ним на край света – поеду и буду искать его до тех пор, пока сил хватит поднести к носу вот эту щепотку табаку.

Услышав это, оба рыцаря бросились обнимать пана Заглобу, а он расчувствовался над несчастьями пана Михала и над своими предстоящими невзгодами. Прослезился и сказал:

– Только за Михала не благодарите, вы не ближе ему, чем я!

– Мы благодарим не за Володыевского, – сказал Кмициц, – но ведь надо иметь железное, даже не человеческое сердце, чтобы не тронуться такой готовностью вашей помочь друг другу в несчастье, невзирая на все трудности дороги и ваши преклонные годы. Ведь другие в ваши годы только о теплой лежанке думают, а вы об этой дальней дороге говорите так, будто вы ровесник мне или пану Скшетускому.

Пан Заглоба не скрывал, правда, своих лет, но не любил, когда при нем говорили о старости, как спутнике бессилия и, хотя у него глаза были еще красны от слез, он быстро и даже с некоторым неудовольствием взглянул на Кмицица и сказал:

– Мосци-пане! Когда мне минуло 77 лет, у меня на сердце стало как-то жутко, что вот уж две секиры повисли над моей головой, но когда мне 80 минуло, я так приободрился, что даже о женитьбе подумывал. И тогда бы мы посмотрели, кто из нас двоих мог бы первый похвастаться!

– Я и не хвастаюсь, да и для вас бы не пожалел похвал!

– И уж, конечно, я бы вас пристыдил, как пристыдил пана гетмана Потоцкого в присутствии короля. Когда гетман вздумал было намекать на мою старость, я ему предложил: кто из нас большее число раз перекувыркнется. И что же оказалось? Пан Ревера перекувыркнулся три раза, и гайдуки должны были его поднимать, сам он встать не мог, а я кувыркался вокруг него и не меньше тридцати раз кувыркнулся. Спросите Скшетуского, он это собственными глазами видел!

Скшетуский знал, что Заглоба имел обыкновение всегда ссылаться на него, как на очевидца, а потому даже не сморгнул глазом и стал опять расспрашивать о Володыевском. Заглоба замолчал и о чем-то задумался. После ужина он повеселел и обратился к товарищам:

– Я скажу вам то, до чего не всякий додумается. Я полагаюсь на Бога и думаю, что пан Михал скорее забудет свое горе, чем это нам казалось сначала!

– Дай бог, но почему вы так думаете? – спросил Кмициц.

– Гм... надо иметь от природы быстрый ум и большую опытность, которой вы в ваши годы иметь не можете, а кроме того, знать Михала. У каждого человека своя натура. Одного несчастье поразит, что камень, брошенный в реку; вода-то сверху и течет, а он лежит на дне и задерживает течение и будет лежать, и будет задерживать, пока вся вода не уплывет в Стикс. Ты, Ян, можешь быть причислен к таким людям. Но таким плохо жить на свете: они горя не забывают. На других несчастья действуют так, точно их обухом по голове хватили. Ошеломит их сразу, потом они приходят в себя, и, когда рана заживет, они о ней забывают. Ох, таким натурам лучше в этом мире, полном превратностей!

Рыцари со вниманием слушали мудрые слова Заглобы, а он, польщенный этим, продолжал:

– Я Михала знаю насквозь, и Бог мне свидетель, что я не хочу его осуждать, но мне кажется, что он больше оплакивает несостоявшуюся женитьбу, чем эту девушку. И говорить нечего, отчаяние его охватило страшное: ведь это действительно несчастье, страшное несчастье, особенно для него. Вы себе представить не можете, как хотелось ему жениться. В нем нет ни алчности, ни себялюбия, ни тщеславия, он все бросил, лишился состояния, отказался даже от жалованья, но за все свои труды, за все заслуги он от Бога и Речи Посполитой ничего не просил – только жены. И он был искренне убежден, что такая награда должна достаться ему по праву; он был как тот человек, который долго голодал и ему поднесли ко рту кусок хлеба: «На, ешь!», а потом вдруг этот кусок вырвали у него из зубов. Неудивительно, что его охватило отчаяние. Я не говорю, что он и девушку эту не оплакивает, но, как Бог свят, он больше жалеет о неудавшейся женитьбе, хотя сам вам поклянется, что это не так!

– Дай бог! – повторил Скшетуский.

– Подождите, пусть только его раны заживут, тогда мы увидим, не захочет ли он снова жениться. Опасность в том, как бы он теперь под бременем несчастья не сделал или не решил чего-нибудь такого, в чем ему потом пришлось бы раскаиваться. Но если что-нибудь должно было случиться, то оно уже случилось, так как в несчастье люди решают быстро... Казачок уже укладывает мои вещи, и я все это говорю не потому, что ехать не надо, а лишь для того, чтобы вас утешить!

– Вы опять будете целебным бальзамом для Михала, отец! – сказал Скшетуский.

– Как это было и с тобой! Помнишь? Только бы поскорей его найти; я боюсь, как бы он не спрятался где-нибудь в пустыне или в далеких степях, к которым он привык смолоду. Вы, пане Кмициц, попрекали меня старостью, а я скажу вам, что ни один гонец с письмом не скакал так, как поскачу я, а если это будет не так, то, когда я вернусь, прикажите мне выдергивать нитки

из старых тряпок или лущить горох! Никакие неудобства меня не задержат, не искусит ничье гостеприимство, ни яства, ни напитки. Вы еще не видали такого похода. Я уже теперь сижу словно на горячих углях; я уже велел приготовить дорожное платье и смазать его козым салом, чтобы насекомые не заводились.

### III

Но пан Заглоба ехал совсем не так скоро, как обещал товарищам. Чем ближе подвигался он к Варшаве, тем ехал медленнее. Это было время, когда Ян Казимир, политик и великий вождь, закончив внешние войны и спасши Речь Посполитую из бездн несчастий, отказался от престола. Он все вытерпел, все перенес, подставляя свою грудь под все удары врагов; но, когда он потом задумал внутренние реформы и вместо поддержки народа встретил только противодействие и неблагодарность, тогда он добровольно снял со своей головы корону, которая стала для него невыносимой тяжестью.

Поветовые и окружные сеймики уже закончились, и ксендз-примас Пражмовский назначил конвокацию на 5 ноября<sup>1</sup>. Кандидаты соперничали друг с Другом, боролись друг с другом различные партии, и хотя все должен был решить только элекционный сейм, но все сознавали важность и этого сейма. Ехали в Варшаву депутаты и верхом, и в экипажах, с дворней и челядью; ехали сенаторы, окруженные блестящей свитой. На дорогах было тесно, постоянные дворы все были переполнены, и найти приют для ночлега было трудно. Но пану Заглобе все уступали место из уважения к его преклонным годам. Зато его слава и замедляла путь.

Бывало, заедет он в корчму, где яблоку упасть негде: вся она занята свитой какого-нибудь вельможи; но вот вельможа из любопытства выйдет посмотреть, кто приехал, и, увидев почтенного старца с белыми, как лунь, усами и бородой, скажет:

– Прошу вас, ваша милость, пожаловать ко мне закусить, чем бог послал!

Пан Заглоба никогда не был неучтивым и никогда не отказывался, зная что знакомство с ним каждому будет приятно. Когда же хозяин, пропустив его в комнату, спрашивал: «С кем имею честь?» – он только подбоченивался и отвечал двумя словами, зная, что они произведут впечатление:

– Заглоба sum!

И никогда еще не случалось, чтобы после этих двух слов не раскрылись горячие объятия и не послышался восторженный крик: «Этот день я буду считать счастливейшим днем моей жизни!» И все кричали товарищам и приближенным: «Смотрите, вот пример мужества, вот слава и честь рыцарства Речи Посполитой!» И все сбегались взглянуть на пана Заглобу, а молодые люди подходили целовать полы его дорожного жупана. Затем из повозок вытаскивали бочонки с вином и начинался пир, продолжавшийся иной раз по несколько дней. Все думали, что Заглоба едет на сейм в качестве депутата, а когда он отрицал это, то вызывал всеобщее удивление. Но он объяснял, что уступил полномочия пану Домашевскому, пусть, мол, и молодые привыкают к общественным делам. Некоторым он объяснял причину своего путешествия, а от других, когда они слишком настойчиво допытывались, он отделялся словами:

– Да вот, с малых лет я привык к войне, и захотелось на старости лет с Дорошенкой повоевать!

После таких слов на него смотрели еще с большим удивлением. Оттого, что Заглоба ехал не в качестве депутата, его ценили не меньше: всем было известно, что и между арбитрами есть такие, которые имеют большее значение, чем сами депутаты. Впрочем, даже самый знаменитый сенатор не мог не понимать, что, когда через несколько месяцев наступят выборы, каждое слово столь славного между рыцарями мужа будет иметь огромный вес. И обнимали пана Заглобу, низко кланялись ему даже самые знатные паны. Пан Подляский угощал его три дня; братья Пацы, с которыми он встретился в Калушине, носили его на руках.

---

<sup>1</sup> Конвокация (sejm konwokacyjny) созывалась в Речи Посполитой для предварительных распоряжений на предмет избрания короля. Созывал ее ксендз-примас, как заместитель короля во время междуцарствия (interrex); избрание короля происходит на элекционном сейме. – *Примеч. перев.*

Многие клали ему тайком в повозку богатые дары: водку, вина, ларцы в дорогой оправе, сабли, пистолеты.

Немало перепадало и слугам пана Заглобы. И он, несмотря на свое обещание и решение спешить, ехал так медленно, что только на третий день доехал до Минска.

Зато в Минске он не останавливался. Когда он въехал на рынок, то увидел, что здесь остановился какой-то вельможа с таким пышным двором, какого он до сих пор не встречал по дороге. Все придворные были в роскошных нарядах, и хотя на конвокационный сейм не принято было ездить с войском, все же Заглоба увидел небольшой отряд пехоты, которая видом своим напоминала лучшую гвардию шведского короля. Весь рынок был запружен множеством возов с дорогими коврами, которыми обивались стены в заезжих домах во время остановок в пути, массой повозок с посудой и съестными припасами; слуги, по-видимому, все были иностранцы, и мало кто из них говорил понятным для всех языком.

Пан Заглоба увидел, наконец, одного из придворных, одетого по-польски, приказал остановиться и, высунув одну ногу из повозки, спросил:

– Чей это двор? Сам король не мог бы иметь лучшего!

– Чей же, как не нашего пана князя-конюшего литовского!

– Чей? – переспросил Заглоба.

– Глухи вы, что ли? Князя Богуслава Радзивилла, который едет на конвокацию и, даст Бог, после выборов будет избран в электоры.

Заглоба поставил ногу на прежнее место и крикнул кучеру:

– Пошел! Тут нам делать нечего! И поехал, трясясь от негодования.

– Великий Боже, – говорил он, – неисповедимы пути твои, и если ты молнией не поразишь этого изменника, то у тебя есть на то свои причины, которые разуму человеческому не постигнуть, но по нашему, человеческому, разумению эта каналья заслуживает хорошей трепки! Но, знать, неладно в великолепной Речи Посполитой, если такие продажные души, без чести и совести, не только не наказаны, но еще разъезжают во всем великолепии и несут общественные обязанности. Уж, верно, придется нам погибать... Ведь в каком другом государстве могло бы случиться что-нибудь подобное? Добр был король *Joannes Casimirus*, но слишком всем и все прощал и приучил самых последних людей верить в безнаказанность. Но это не только его вина; видно, и в народе гражданская совесть и любовь к добродетели окончательно погибли... Тьфу, тьфу! Он – депутат! В его бессовестные руки передали охрану и безопасность отчизны, в те самые руки, которыми он ее же терзал и заковывал в шведские цепи! Мы погибнем, иначе и быть не может! Его еще и в короли прочтат... Ну, что же... Все возможно для такого народа. Он – депутат! Господи боже! Ведь законы говорят ясно, что депутатом не может быть тот, кто занимает какие-либо должности в иноземном государстве, а ведь он – генерал-губернатор у своего паршивого дядюшки в Пруссии. Ну, постой, уж ты у меня попадешься! А проверка полномочий – на что?! Пусть я буду бараном, а мой кучер мясником, если я не явлюсь в зал и хоть в качестве арбитра не подниму этого вопроса. И между депутатами найдутся такие, которые меня поддержат. Не знаю, смогу ли добиться того, чтобы тебя, изменник, исключили из числа депутатов, но что это на элекционном сейме твою репутацию подмочит, это уж верно. А бедняге, Михалу, придется меня подождать, ибо тут задето общее благо!

Так размышляя, пан Заглоба дал себе слово следить за проверкой полномочий и привлечь на свою сторону депутатов. И из Минска он торопился в Варшаву, чтобы не опоздать на открытие сейма.

И приехал он вовремя.

Съезд депутатов и посторонних был так велик, что нельзя было найти свободного угла ни в самой Варшаве, ни в Праге, ни даже за городом. Трудно было даже напроситься к кому-нибудь, и так в каждой комнате помещались уже по три, по четыре человека.



Первую ночь пан Заглоба провел довольно сносно в винном погребе у Фукера; но на следующий день, протрезвившись, он решительно не знал, что ему делать.

– Боже мой! Боже мой! – говорил он, впадая в дурное настроение духа и Разглядывая Краковское предместье, по которому проезжал. – Вот бернардины, вот развалины дворца Казановских. Неблагодарный город! Трудом и собственной кровью вырвал я его из рук неприятеля, а он для меня теперь даже угла жалеет, где бы я мог преклонить свою седую голову.

Но город нисколько не жалел угла для его седой головы, а попросту ни одного свободного угла в нем не было.

Но видно пан Заглоба родился под счастливой звездой: только лишь он поравнялся с дворцом Конецпольских, как чей-то голос крикнул его кучеру:

– Стой!

Слуга придержал лошадей, и к повозке подошел незнакомый шляхтич, с сияющим лицом:

– Пане Заглоба, не узнаете меня?

Заглоба увидел перед собой мужчину лет за тридцать; он был одет в рысий колпак с пером, какой носили военные, в черный жупан, темно-красный кунтуш, подпоясанный золотистым поясом. Лицо незнакомца было необыкновенно красиво. Кожа бледная, несколько загорелая, голубые глаза, полные какой-то грусти и задумчивости, черты лица необыкновенно правильные и для мужчины даже слишком красивые; несмотря на польский наряд, он носил длинные волосы и бороду, подстриженную на иностранный лад. Остановившись около повозки, он широко открыл объятия, и пан Заглоба, хотя и не мог сразу припомнить, кто это такой, наклонился и обнял его за шею.

Они горячо расцеловались, время от времени отстраняя друг друга, чтобы лучше всмотреться. Наконец, Заглоба сказал:

– Простите, ваць-пане, я все еще не могу вспомнить, кто вы...

– Гаслинг-Кетлинг!

– Боже мой! Лицо мне показалось знакомым, но одежда совсем вас изменила. Прежде я вас видал в рейтарском колете. А теперь вы по-польски одеваетесь.

– Потому что я признал Речь Посполитую, которая меня еще ребенком приютила и своим хлебом выкормила, своей матерью, и другой знать не хочу. Знаете ли вы, что я после войны получил права гражданства?

– О, какую приятную новость вы мне говорите! Как это вам так посчастливилось?

– Да, посчастливилось и в этом, и в другом: в Курляндии, на самой жмудской границе, я сблизился с человеком одной фамилии со мной; он меня усыновил, дал свой герб и оделил состоянием. Сам он живет в Курляндии, но и в этих краях у него есть имение Шкуды, и он отдал его мне.

– Помогите вам боже! Так вы совсем бросили войну?

– Пусть только что-нибудь случится, я опять не заставлю себя ждать. Я и деревеньку свою отдал в аренду и только жду случая.

– Вот это поистине рыцарский дух! Совсем как я, когда был молод, хотя, правду сказать, у меня и теперь кости еще крепки. Что же вы делаете в Варшаве?

– Я депутат на конвокационном сейме.

– Боже ты мой! Так вы уж поляк с головы до ног!

Молодой рыцарь улыбнулся:

– Душою поляк, а это важнее.

– Женаты?

Кетлинг вздохнул.

– Нет.

– Только этого вам недостает. Но погодите немножко. Неужели вы все еще питаете нежные чувства к панне Биллевич?

– Я думал, что это для всех тайна, но раз вы знаете, то скажу вам, что нового чувства у меня ни к кому нет...

– Оставь это! Она скоро произведет на свет маленького Кмицица. Оставь ее в покое! Что за охота вздыхать по ней, когда она счастлива с другим? Скажу тебе откровенно, что это даже смешно...

Кетлинг поднял свои грустные глаза к небу.

– Я ведь только сказал, что нового чувства ни к кому у меня нет.

– Будет, не бойтесь, мы вас женим. Я по собственному опыту знаю, что слишком большое постоянство в любви приносит много страданий. Я тоже в свое время был постоянен как Троил<sup>2</sup>: немало прекрасных случаев из-за этого упустил, а сколько настрадался...

– Дай бог каждому сохранить такую веселость, как у вас!

– Ибо я всегда вел скромную жизнь, потому у меня в костях и не стреляет. Где вы живете?

Нашли место?

– Около Мокотова у меня есть собственный домик, я его после войны выстроил.

– Счастливее! А я со вчерашнего дня тщетно по всему городу пристанища ищу.

– Ради бога, благодетель! Не откажите мне в моей просьбе, остановитесь у меня! Места много: кроме домика есть и флигель, и конюшня. Найдется помещение и для прислуги, и для лошадей.

– Вы для меня точно с неба свалились, ей-богу!

Кетлинг сел в возок рядом с Заглобой, и лошади тронулись.

По дороге Заглоба рассказал ему о несчастье с Володыевским. Кетлинг заламывал руки, ибо ничего еще не знал.

– Это тем больнее для меня, – сказал он, наконец, – что за последнее время мы с ним очень сошлись и подружились. Мы участвовали вместе во всех последних войнах в Пруссии, в осаде крепостей, в которых еще оставались шведские гарнизоны. Вместе ходили и на Украину, и на пана Любомирского, а потом, после смерти воеводы русского, снова на Украину под предводительством пана маршала коронного Собеского. Одно седло служило нам подушкой, ели мы из одной миски; нас прозвали Кастором и Поллуксом. И расстались мы только тогда, когда он поехал за панной Божобогатой на Жмудь. Кто бы мог ожидать, что его надежды так скоро рассеются, как дым!

– Нет ничего постоянного в этой юдоли слез! – заметил Заглоба.

– Кроме истинной дружбы! Надо будет постараться узнать, где он теперь. Быть может, узнаем что-нибудь у коронного маршала, который любит Володыевского, как родного сына. Если же не от него, так от какого-нибудь Депутата. Невозможно, чтобы никто из них не слышал о столь славном рыцаре. Я помогу вам всем чем могу, и буду стараться больше, чем если бы дело касалось меня самого.

Беседуя так, они, наконец, подъехали к владению Кетлинга, которое оказалось огромной усадьбой. Внутри дома был большой порядок, много ценных вещей, отчасти купленных, отчасти взятых в добычу. Особенно великолепен был выбор оружия. Увидав это, пан Заглоба обрадовался и сказал:

– О, да вы тут можете у себя и двадцать человек поместить! Счастье для меня, что я встретился с вами. Я бы мог остановиться у пана Антония Храповицкого: он мой знакомый и приятель. Звали меня и Пацы, которые ищут сторонников против Радзивиллов, но я предпочитаю остановиться у вас.

---

<sup>2</sup> Троил – герой древних сказаний о Трое.

– Я слышал от литовских депутатов, – сказал Кетлинг, – что так как теперь очередь Литвы, то маршалом сейма хотят выбрать пана Храповицкого.

– И правильно! Он человек отличный, хотя немного своевольный. Для него нет ничего дороже мира; он только и смотрит, как бы кого-нибудь с кем-нибудь примирить, а все ни к чему. Но скажите мне откровенно, какое отношение имеете вы к князю Богуславу Радзивиллу?

– С тех пор, как под Варшавой меня взяли в плен татары пана Кмицица, никакого. Я покинул службу у него и больше о ней не заботился. Радзивилл, хотя и знатный пан, но человек вероломный. В Таурогах я достаточно насмотрелся на него, когда он хотел посягнуть на честь этого неземного создания...

– Какого неземного? Что вы болтаете! Она тоже из глины и, как всякая фарфоровая кукла, может разбиться. Впрочем, бог с ней.

Тут пан Заглоба покраснел от гнева, и даже глаза у него вышли из орбит.

– Представьте себе, эта шельма здесь депутатом!

– Кто такой? – спросил с удивлением Кетлинг, мысли которого были около Оленьки.

– Богуслав Радзивилл! Но проверка полномочий зачем? Слушайте! Вы – депутат и можете затронуть этот вопрос, а я с галереи вас поддержу. Не бойтесь! Закон на нашей стороне, а если они захотят обойти его, можно будет между арбитрами поднять такое волнение, что дело не обойдется и без крови.

– Не делайте этого, ради бога! Я этот вопрос подниму во имя справедливости, но упаси боже расстроить сейм.

– Я пойду и к Храповицкому, хоть он, к сожалению, слишком мягок, а от него, как от будущего маршала, будет многое зависеть. Я подстрекну и Пацов. По крайней мере, мы ему публично напомним все его интриги. Я слышал по пути, что эта шельма метит в короли...

– Неужели народ дошел до последнего падения, если он хочет избирать в короли таких людей? – сказал Кетлинг. – Ну, отдохните пока, а потом мы как-нибудь пойдем к маршалу коронному и разузнаем про нашего приятеля.

## IV

Спустя несколько дней последовало открытие конвокационного сейма. И, как предвидел Кетлинг, маршалом был выбран пан Храповицкий, тогда еще подкоморий смоленский, а потом воевода витебский. Так как дело касалось назначения срока выборов и установления временного правительства и интриги различных партий не могли еще найти себе подходящей почвы, то можно было предполагать, что сейм пройдет спокойно. Только в самом начале спокойствие это было нарушено вопросом о проверке депутатских полномочий. Когда депутат Кетлинг возбудил вопрос о сомнительности прав пана писаря бельского и его товарища князя Богуслава Радзивилла, то в группе арбитров чей-то громкий голос крикнул: «Он изменник! Он на иностранной службе!» За этим голосом раздались и другие; к ним присоединились и некоторые депутаты, и совершенно неожиданно сейм распался на две партии: одна требовала проверки прав бельских депутатов, другая же настаивала на признании их выбора. Решено было передать дело следственной комиссии, и права депутатов были утверждены. Тем не менее это было тяжким ударом для князя-конюшего: одно то, что поднят был вопрос, достоин ли князь заседать на сейме, перечисление всех его измен во время шведской войны – напомнили Речи Посполитой о его недавнем позоре и в корне подорвали все его честолюбивые замыслы.

Он рассчитывал, что если иностранные претенденты взаимно будут мешать друг другу, то выбор может пасть на коренного жителя страны.

Гордость его и льстецы говорили ему, что этим коренным жителем может быть не кто иной, как вельможа, одаренный великим гением, человек могущественный и знатного рода, иначе – он сам.

Храня все это до поры до времени в тайне, он уже заранее раскинул свои сети на Литве, а потом в Варшаве, и вдруг увидел, что в самом начале ему порвали эти сети и сделали в них такую большую дыру, что все рыбы могут через нее уйти. Во все время расследования его дела он скрежетал зубами, и так как Кетлингу, как депутату, он отомстить не мог, то объявил своим придворным, что наградит того, кто ему укажет арбитра, который первый за Кетлингом крикнет: «Изменник и предатель».

Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло остаться в тайне. Да он и не думал скрываться. Услыхав, что у него поперек дороги стал такой популярный человек, посягать на жизнь которого было не безопасно, князь пришел в бешенство.

Пан Заглоба сознавал свою силу и потому, услышав об угрозах князя, он сказал на одном большом шляхетском собрании:

– Не думаю, чтобы было безопасно снять хоть один волос с моей головы. Выборы не далеко, а когда соберется до ста тысяч дружеских сабель, может дойти и до резни.

Слова эти дошли до князя, он закусил губы и презрительно улыбнулся, но в душе подумал, что Заглоба прав.

На другой же день князь явно переменял свои намерения относительно старого рыцаря, и когда на пиру у князя-кравчего кто-то упомянул о Заглобе, Богуслав сказал:

– Шляхтич этот очень не любит меня, я слышал, но я в людях больше всего люблю рыцарский дух, и если даже он будет продолжать вредить мне, я все же буду любить его.

Неделю спустя он повторил то же самое в глаза пану Заглобе, когда они встретились у великого гетмана Собеского.

При виде князя сердце пана Заглобы забилося сильнее, хотя лицо оставалось совершенно спокойным: ведь это был пан, руки которого далеко хватали, к тому же людоед, которого все боялись.

Богуслав обратился к нему через весь стол:

– Мосци-пане Заглоба, до меня дошли слухи, что хотя вы и не депутат, но хотели исключить меня из сейма; я вам это по-христиански прощаю и в случае нужды всегда готов вам покровительствовать.

– Я только придерживался конституции и делал то, что обязан сделать каждый шляхтич; что же касается покровительства, то мне в мои годы нужнее всего покровительство Господа Бога – мне уже под девяносто.

– Прекрасные годы, если они были столь же добродетельны, сколь долги, в чем я не сомневаюсь!

– Я служил отчизне и государю и других богов не искал. Князь слегка поморщился.

– Вы служили и против меня, – я знаю. Но да водворится между нами мир! Все уже забыто, даже то, что вы поддерживали чужую личную ненависть ко мне. С тем преследователем у меня еще есть счеты, но вам я протягиваю руку и предлагаю дружбу.

– Я человек маленький, и дружба вашего сиятельства для меня честь слишком высокая – пришлось бы по лестнице взбираться или подпрыгивать, а на старости лет это трудно. Если же вы, ваше сиятельство, говорите о счетах с Кмицицем, моим приятелем, то от всего сердца советую вам за эту арифметику не приниматься...

– Почему же? – спросил князь.

– Потому что в арифметике четыре правила. И вот, хотя у Кмицица большое состояние, но в сравнении с вашим это капля в море, и на деление он не согласится; умножением он сам занимается; отнять у себя он тоже ничего не позволит, вот разве прибавить что-нибудь он может, но не знаю, так ли это нужно вашему сиятельству...

Хотя Богуслав никогда за словом в карман не лазил, но в эту минуту доводы пана Заглобы, или же его дерзость так смутили князя, что он не нашелся что ответить. У присутствующих животы запрыгали от смеха, а пан Собеский расхохотался во все горло и сказал:

– Это збаражский герой! Он умеет рубить саблей, но и языком работать мастер. Лучше оставить его в покое!

Богуслав, видя, что в лице Заглобы он наткнулся на непримиримого врага, не пытался более привлечь его на свою сторону; он заговорил с кем-то другим и только бросал злобные взоры через стол на старого рыцаря.

Но пан Собеский развеселился и продолжал:

– Вы мастер, пане-брат, настоящий мастер! Случалось ли вам встречать равного в Речи Посполитой?

– Саблей, – отвечал Заглоба, довольный похвалой, – не хуже меня работает теперь Володыевский. Да и Кмицица я подучил недурно.

И сказав это, Заглоба покосился на Богуслава, но тот продолжал разговаривать с соседом, сделав вид, что не слышит.

– Володыевского, – сказал гетман, – я не раз видал в деле и мог бы за него поручиться, если бы от этого зависела участь всего христианства. Жаль только, что в столь великого рыцаря словно гром грянул.

– А что с ним случилось? – спросил пан Сарбевский, мечник цехановецкий.

– По пути, в Ченстохове умерла его невеста, – ответил Заглоба, – а что хуже всего, я нигде не могу узнать, где он теперь находится.

– Господи боже! – воскликнул пан Варшицкий, каштелян краковский. – Да ведь я по дороге в Варшаву встретился с ним; он говорил мне, что, питая отвращение к жизни и познав ее суету, он собирается на Mons regius, чтобы в молитве и размышлениях окончить свое печальное житие.

Заглоба схватился за остаток своей чуприны.

– Богом клянусь, он камедулом<sup>3</sup> сделался! – воскликнул он в отчаянии.

Известие это произвело на всех удручающее впечатление. Пан Собеский, который очень любил солдат и знал, как в них нуждается отчизна, сильно огорчился и минуту спустя сказал:

– Трудно противиться свободной воле человека и славе Божьей, но я не могу скрыть от вас, что мне его очень жаль. Он солдат из школы князя Еремии и хорош против всякого неприятеля, особенно против орды. Есть всего несколько таких загонщиков в степях: среди казаков пан Пиво, в регулярном войске пан Рущиц, но и этим далеко до Володыевского.

– Счастье еще, что время теперь спокойное, – ответил мечник цехановецкий, – и что язычники верны мирным трактатам подгаецким<sup>4</sup>, вынужденным непобедимым мечом моего благодетеля. – И мечник поклонился пану Собескому, а тот, польщенный публичной похвалой, ответил:

– Прежде всего надлежит благодарить Бога за то, что он дал мне лечь у порога Речи Посполитой и искушать неприятеля, а затем наших славных воинов, всегда на все готовых! Что хан рад сохранять нерушимо мирные трактаты, это я знаю; но в самом Крыму постоянные восстания против хана, а Белгородская орда совсем его не слушается. Я получил известие, что на молдавской границе их собираются целые тучи и готовятся к набегам. Я велел внимательно следить по проселочным дорогам, но у меня солдат мало. Если в одном месте прибавлю, в другом нехватка. Особенно же не хватает у меня опытных солдат, знающих все приемы орды; вот почему я так жалею о Володыевском.

Заглоба отнял руки, которыми держался за голову, и воскликнул:

– Но не бывать ему камедулом, хотя бы мне пришлось осадить Mons regius и отнять его силой! Боже мой! Завтра же к нему поеду. Может быть, мне удастся убедить его, а если нет, то я отправлюсь к ксендзу-примасу, к самому генералу камедулов. Если придется в Рим ехать, я и туда поеду. Я не хочу приуменьшать славы Господней, но какой же он камедул, когда у него и борода не растет? Как у меня на руке! Ей-богу! Он и обедни не сумеет пропеть, а если запоет, то все монастырские крысы убегут: они подумают, что кошка мяукает, справляя свою свадьбу. Простите, ваць-панове, за эти слова, но я говорю то, что подсказывает мне моя печаль. Если бы у меня был сын, я не любил бы его больше, чем этого малого. Бог с ним! Бог с ним! Сделайся он хоть бернардинцем, но только не камедулом! Не бывать этому. Завтра же еду к ксендзу-примасу и попрошу его дать мне письмо к настоятелю.

– Ведь обета он еще дать не мог, – сказал пан маршал, – но вы его не торопите, чтобы он не стал упорствовать. Надо и с тем считаться, нет ли тут воли Божьей...

– Воля Божья! Воля Божья не объявляется так вдруг. Даже пословица есть: спешить – черта смешить! Если бы тут была воля Божья, я бы давно заметил в нем склонность к этому, а он был драгун, а не ксендз. Если бы он в здравом уме и полной памяти решил на это, я бы ничего не говорил; но в отчаянии воля Божья не объявляется. Я торопить его не буду. Прежде чем идти, я хорошенько обдумаю, что мне ему сказать. Но я надеюсь на Бога. Володыевский, бедняга, всегда больше доверял моему уму, чем своему. Надеюсь, что и теперь так будет, если только он окончательно не изменился.

---

<sup>3</sup> Камедулы – монашеский орден, известный строгостью уставов, в Польше вел деятельность с начала XVII в.

<sup>4</sup> Подгаецкие трактаты. В октябре 1667 г. в лагере под Подгайцами Собеский успешно отразил натиск неприятельских сил.

## V

На другой день, запасшись письмом ксендза-примаса и обсудив сообща с Гасслингом весь план действий, пан Заглоба позвонил у монастырской калитки на Mons regius. При мысли, как примет его пан Володыевский, сердце его тревожно билось; хотя он и обдумал заранее все, что скажет ему, но сознавал, что многое будет зависеть от того, как его примут. С этими мыслями он вторично дернул звонок, а когда ключ скрипнул в замке и калитка чуть приоткрылась, он протиснулся в нее не без некоторого насилия и сказал оторопевшему молодому монаху:

– Я знаю, чтобы войти сюда, надо иметь особое разрешение, но у меня есть письмо от ксендза-примаса, которое соблаговолите, *carissime frater*<sup>5</sup>, передать ксендзу-настоятелю.

– Воля ваша будет исполнена, – ответил привратник, склоняясь при виде печати примаса.

Сказав это, он дернул за ремень, привязанный к языку колокола, и позвонил два раза, чтобы позвать кого-нибудь: отойти от калитки он не имел права. На звук колокола появился другой монах и, взяв письмо, молча с ним удалился. Пан Заглоба положил на скамью бывший с ним сверток, сел и начал сильно сопеть.

– Брат, – сказал он наконец, – давно вы в монастыре?

– Пятый год, – ответил привратник.

– Скажите пожалуйста, такой молодой и уже пятый год! Значит, если бы вам и хотелось отсюда выйти, то теперь уже поздно. А верно не раз приходилось вам тосковать о свете, ибо у одного, сударь вы мой, на уме война, у другого – веселье, у третьего – красотки...

– *Apage*<sup>6</sup>, – сказал монах, набожно крестясь.

– Ну, как же? Разве у вас никогда не было искушения выйти отсюда? – повторил Заглоба.

Монах недоверчиво поглядел на архиепископского посланника, который вел с ним такой странный разговор, и сказал ему:

– За кем здесь закрылись двери, тот уже отсюда не выходит.

– Ну, это мы еще увидим! А как там пан Володыевский, здоров ли?

– У нас нет никого, кто бы так назывался.

– Ну, брат Михал? – сказал наудачу Заглоба. – Прежний драгунский полковник, который сюда недавно поступил.

– Его мы зовем братом Георгием; но он еще не давал обета и раньше срока дать его не может.

– И, конечно, никогда не даст! Вы себе представить не можете, что это за повеса. Для женщин это был бич божий. Другого такого ни в одном монастыре... я хотел сказать, ни в одной войске не найти.

– Мне не годится это слушать, – возразил еще с большим удивлением и негодованием монах.

– Слушайте же, брат! Я не знаю, где у вас мода принимать посетителей, но если здесь, на этом месте, то, когда придет брат Георгий, я советую вам удалиться, вот хотя бы в ту сторожку у калитки: мы будем говорить о слишком светских вещах.

– Предпочитаю удалиться уже теперь, – отвечал монах.

Между тем появился Володыевский или, как его здесь звали, брат Георгий, но Заглоба не узнал его: пан Михал очень изменился.

В длинной белой рясе он казался выше, чем в драгунском колете; торчавшие когда-то вверх усики опустились книзу; по-видимому, он пытался отпустить бороду, но она состояла из

---

<sup>5</sup> Дорогой брат (*лат.*).

<sup>6</sup> Изыди! (*лат.*).

двух желтых клочков не длиннее пальца; наконец он очень исхудал и побледнел; глаза утратили прежний блеск; шел он медленно, с опущенной головой и руками, скрещенными на груди.

Заглоба, не узнав его, подумал, что это идет сам настоятель; он поднялся со скамьи и сказал:

– *Laudetur...*<sup>7</sup>

Но всмотревшись ближе, он раскрыл объятия и воскликнул:

– Пан Михал! Пан Михал!

Брат Георгий дал обнять себя, и что-то вроде рыдания вырвалось из его груди, но глаза остались сухи. Заглоба обнимал его долго и наконец начал говорить:

– Не ты один оплакивал свое несчастье. Плакал и я, плакали Скшетуские и Кмицицы. Воля Божья! Да утешит тебя Господь Милосердный. Ты хорошо сделал, что на время заперся в этих стенах. В несчастье нет ничего лучше молитвы и благочестивых размышлений. Дай же еще раз тебя обнять. Я едва могу разглядеть тебя сквозь слезы.

И пан Заглоба, действительно, плакал, растроганный видом Володыевского, и так продолжал:

– Прости, что я прервал твои размышления, но я не мог сделать иначе, и ты сам согласишься со мной, когда я изложу тебе мои доводы. Эх, Михал, много мы с тобой пережили и хорошего, и дурного. Нашел ли ты хоть какое-нибудь утешение за этой решеткой?

– Нашел, – ответил пан Михал, – в словах, которые я ежедневно слышу и повторяю, и которые буду повторять до самой смерти: «*Memento mori!*»<sup>8</sup> Смерть для меня утешение.

– Гм... Смерть легче найти на поле брани, чем в монастыре, где жизнь тянется так однообразно, как нитка от бесконечного мотка...

– Здесь нет жизни, ибо нет дел земных, и даже прежде, чем душа покинет тело, чувствуешь уже себя словно в ином мире.

– Если так, то тебе уже нечего говорить, что белгородская орда с большими силами готовится идти на Речь Посполитую – теперь тебе до этого нет дела...

Пан Михал зашевелил вдруг усиками и дотронулся до левого бока, но, не найдя сабли, сейчас же спрятал обе руки под рясу, опустил голову и сказал:

– *Memento mori!*

– Правильно! правильно! – сказал Заглоба, моргая с некоторым нетерпением своим здоровым глазом. – Вчера еще пан гетман Собеский говорил: «Пусть Володыевский хоть эту войну еще прослужит, а там пусть себе идет в какой хочет монастырь. Бог не разгневался бы на него за это, и ему, как монаху, это поставили бы в заслугу...» Но трудно удивляться тебе, что ты свое собственное спокойствие ставишь выше счастья отчизны: своя рубашка ближе к телу...

Настало долгое молчание, и только усы пана Михала поднялись вверх и стали еле заметно, но быстро двигаться.

– Ты еще не давал обета, – спросил наконец Заглоба, – и можешь уйти каждую минуту?

– Я еще не монах – я ждал милости Божьей, чтобы все земные и горестные помыслы покинули мою душу. Но Божья благодать уже снизошла на меня, спокойствие возвращается; я могу выйти отсюда, но не хочу, ибо приближается срок, когда я, с чистой совестью и свободный от земных помыслов, смогу произнести обет.

– Я не буду тебя отговаривать: напротив, я хвалю такое решение, хотя помню, что когда Скшетуский некогда возымел намерение сделаться монахом, то все-таки ждал, пока отчизна не освободится от врагов. Но ты делай как знаешь. Не мне тебя отговаривать, ибо я сам в былые времена чувствовал призвание к монастырской жизни. Пятьдесят лет тому назад я даже начал

---

<sup>7</sup> Да прославится... (*лат.*).

<sup>8</sup> Помни о смерти! (*лат.*).



послушание, будь я шельма, если лгу!.. Но Бог решил иначе... Одно только скажу тебе, Михал, что хоть на несколько дней ты должен со мной выйти.

– Почему должен? Оставь меня в покое! – ответил Володыевский, Заглоба поднял полу своего кунтуша и зарыдал.

– Для себя, – говорил он прерывающимся голосом, – я помощи не прошу, хотя князь Богуслав Радзивилл преследует меня и из мести подсылает ко мне убийц, и меня, старика, некому защитить... Я на тебя надеялся... Ну, да что! Я тебя всегда буду любить, если бы ты даже и знать меня не хотел. Молись только за мою душу – мне не уйти из рук Богуслава. Чему быть, того не миновать! Но другой твой приятель, который делился с тобою каждым куском хлеба, – при смерти и, прежде чем умереть, хочет обязательно повидаться с тобой и сделать тебе какие-то признания, без которых он не найдет душевного покоя.

Пан Михал, который сильно взволновался, узнав об опасностях, угрожавших пану Заглобе, схватил его за плечи и спросил:

– Скшетуский?

– Не Скшетуский, а Кетлинг!

– Ради бога, что с ним?

– Защищая меня, он был ранен людьми князя Богуслава, не знаю, проживет ли он еще хоть день. Из-за тебя, Михал, мы и попали в такую переделку, ибо и в Варшаву приехали ради тебя, чтобы как-нибудь тебя утешить. Выйди хоть на два дня – простись с умирающим... Вернешься потом и... станешь монахом. Я привез письмо от примаса к настоятелю, чтобы тебе не делали никаких затруднений. Но спеш: каждая минута дорога!

– Господи боже! – воскликнул Володыевский. – Что я слышу! Но препятствий мне и так не могут ставить, я пока только послушник. Боже! Просьба умирающего – святая вещь! В ней я отказать не могу.

– Это было бы смертным грехом! – воскликнул Заглоба.

– Да! Вечно этот изменник Богуслав... Но не вернуться мне сюда, если я не отомщу за Кетлинга! Я найду тех палачей и изрублю их в куски. Боже мой, уже грешные мысли мной овладели. Memento mor... Подождите меня здесь, я пойду переоденусь в старое платье: в монашеской одежде мне выходить нельзя.

– Вот платье! – воскликнул Заглоба, хватая сверток, который лежал около него на скамье. – Я все предвидел, все приготовил... Есть сапоги, есть отменная рапира и шапка.

– Пойдем в келью, – быстро сказал маленький рыцарь.

Они отправились, а когда показались снова, то рядом с паном Заглобой семенил уже не белый монах, а офицер в желтых сапогах выше колен с рапирой и белой португеей через плечо. Заглоба моргал своим здоровым глазом и улыбнулся из-под усов, увидев, как привратник с явным негодованием открывает им калитку.

Недалеко от монастыря их ожидала бричка пана Заглобы, а при ней двое его людей; один из них сидел на козлах с вожжами в руках; Володыевский взглядом знатока окинул отличную четверку лошадей. Второй слуга стоял у брички и в одной руке держал покрытую плесенью бутылку, в другой две чарки.

– До Мокотова конец не малый, а у одра Кетлинга нас ждет великая скорбь! Выпей, Михал, соберись с силами, чтобы перенести горе, – ты очень исхудал...

Сказав это, Заглоба взял бутылку, налил в чарки старого вина, такого старого, что оно даже сгустилось от старости.

– Благородный напиток! – сказал Заглоба, ставя на землю бутылку и принимаясь за чарку. – За здоровье Кетлинга!

– За здоровье! – повторил Володыевский. – Надо торопиться! И они залпом осушили чарки.

– Надо торопиться! – повторил Заглоба. – Наливай, парень! Здоровье Скшетуского! Надо торопиться...

И они опять выпили залпом: надо было спешить.

– Ну, садитесь! – уговаривал Володыевский.

– А за мое здоровье ты не выпьешь? – спросил жалобным голосом Заглоба.

– Только скорей!

И они выпили поспешно. Заглоба сразу осушил чарку, хотя в ней помещалось полкварти, и, даже не вытерев усов, сказал:

– Я был бы неблагодарным, если бы не выпил за твое здоровье! Наливай, парень!

– Спасибо, – ответил брат Георгий.

Бутыль опорожнилась. Заглоба схватил ее и разбил вдребезги: он не выносил пустой посуды.

Они сели и поехали.

Благородный напиток тотчас разлил по их жилам приятную теплоту и наполнил сердца бодростью. Щеки брата Георгия покрылись легким румянцем, а глаза загорелись прежним блеском. Он невольно раз, другой прикоснулся рукой к усам и так их закрутил, что концы их почти касались глаз. При этом он стал осматривать окрестности с таким любопытством, точно видел все это в первый раз в жизни.

Вдруг Заглоба ударил себя руками по коленям и ни с того ни с сего воскликнул:

– Гоп, гоп! Я надеюсь, что, как только Кетлинг тебя увидит, он сейчас же выздоровеет. Гоп, гоп!

И, схватив Михала за шею, он стал обнимать его изо всей силы.

Володыевский не хотел оставаться в долгу, и они горячо расцеловались.

Некоторое время они ехали в приятном молчании. Между тем по обеим сторонам дороги показались домики предместья.

Перед домиками было большое движение. В ту и в другую сторону сновали мещане, слуги в разных одеждах, солдаты и шляхта, зачастую очень нарядная.

– Масса шляхты приехала на конвокацию! – сказал Заглоба. – Многие хоть и не депутаты, а все же им хочется послушать, посмотреть. Все гостиницы, все постоялые дворы заняты; трудно найти свободный уголок. А шляхтянок сколько на улицах, и в бороде столько волос не насчитаешь... Уж и хороши они, черт их дери! Иной раз так и хочется взмахнуть руками, как петух крыльями, и запеть... Смотри вот на эту чернушку, за которой гайдук несет зеленую шубку... Хороша, а?

Тут Заглоба толкнул Володыевского в бок, а тот поглядел, шевельнул усиками, глаза у него засверкали, но в ту же минуту он опомнился, опустил голову и, после некоторого молчания, сказал:

– Memento mori!

Заглоба опять обнял его за шею.

– Если ты хоть каплю любишь меня, если хоть каплю уважаешь, женись. Столько красавиц на свете! Женись!

Брат Георгий с удивлением взглянул на своего приятеля. Ведь пан Заглоба не был пьян, он мог много выпить, даже втрое больше, и этого по нему не было бы заметно; значит, он говорит так от наплыва чувств. Но подобные мысли были так далеки от пана Михала, что в первую минуту он был более изумлен, чем возмущен.

Наконец, он строго поглядел в глаза Заглобе и спросил:

– Вы, верно, захмелели?

– Я тебе говорю от всего сердца: женись!

Пан Володыевский взглянул на Заглобу еще суровее:

– Memento mori!

Но Заглобу нелегко было смутить.

– Михал, если ты меня любишь, сделай это для меня, пошли ты в болото свое «Memento». Повторяю: ты сделаешь, как захочешь, но я так полагаю: пусть каждый служит Богу тем, к чему его Господь создал. А тебя он создал для рапиры, и в этом явная его воля, ибо в этом искусстве он позволил тебе дойти до совершенства. Если бы он хотел сделать тебя ксендзом, он наделил бы тебя совсем другими талантами и создал бы тебя склонным к книгам и латыни. Заметь также, что святое воинство пользуется в небе не меньшим почетом, чем святые монахи, оно сражается с адскими силами, и когда возвращается с победными знаменами, то получает награды из рук Господних... Ведь все это правда? Ты отрицать этого не будешь?

– Не отрицаю и знаю, что переспорить вас трудно; но и вы не будете отрицать, что монастырь дает лучшую пищу печали, нежели суетный свет...

– А если лучшую, то монастыря-то и надо избегать! Глуп тот, кто питает свое горе, вместо того чтобы уморить его голодом.

Пан Володыевский не нашелся, что ответить; он смолк и только минуту спустя сказал с тоской:

– Вы мне о женитьбе не говорите, эти воспоминания только растрavляют мои раны! У меня нет и прежнего желанья, оно уплыло вместе со слезами; да и годы не те: у меня седина появилась. Мне сорок два года и двадцать пять лет прошли в военных трудах, – это не шутка! Не шутка!

– Господи, не карай его за богохульство! Сорок два года! Тьфу! Мне вдвое больше, а иной раз приходится бичевать себя, чтобы усмирить волнение крови и выколачивать его как выколачивают пыль из платья. Чти память твоей покойницы, Михал! Раз для нее ты был молод, то почему же для других ты стар?

– Оставьте это! Оставьте! – сказал печальным голосом пан Володыевский. И слезы потекли у него из глаз на маленькие усики.

– Я не скажу более ни слова, – сказал Заглоба, – дай мне только рыцарское слово, что в каком бы состоянии ты ни застал Кетлинга, ты останешься с нами целый месяц. Тебе надо повидаться и со Скшетуским. Если потом ты захочешь надеть монашескую рясу, мы препятствовать тебе не будем!

– Даю слово! – сказал пан Михал.

И они сейчас же заговорили о другом. Пан Заглоба стал рассказывать о конвокации, о том, как был затронут вопрос о незаконности полномочий Радзивилла, о приключении Кетлинга. Иной раз он прерывал рассказ и погружался в раздумье. Но, должно быть, это были веселые мысли, так как он время от времени ударял себя по коленям и повторял: «Гоп, гоп!»

Но по мере того, как они приближались к Мокотову, на лице Заглобы появлялось некоторое беспокойство. Он вдруг обратился к Володыевскому и сказал:

– Помни! Ты дал мне слово, что в каком бы состоянии ни застал Кетлинга, ты останешься с нами целый месяц!

– Я дал слово и останусь, – ответил Володыевский.

– Вот и дом Кетлинга! – воскликнул Заглоба. – Он прекрасно живет. Потом он крикнул кучеру:

– Щелкни-ка бичом! В этом доме сегодня праздник будет!

Раздалось громкое хлопанье бича. Еще повозка не успела въехать в ворота, как на крыльцо высыпала толпа товарищей и знакомых пана Михала. Были между ними старые товарищи по войне с Хмельницким, и молодые – последних времен; был тут и пан Василевский, и пан Нововейский, еще почти дети, но уже лихие рыцари; они еще мальчишками убежали из школы и уже несколько лет служили в войске под начальством пана Володыевского. Маленький рыцарь очень их любил.

Из прежних товарищей здесь был пан Орлик, с черепом, запаянным золотом, так как он треснул от шведской гранаты; был пан Рущиц, полудикий степной рыцарь, несравненный загонщик, уступавший только Володыевскому; было и много других. Увидев, что в повозке сидят двое, они закричали громко:

– Едет! Едет! Победил Заглоба! Едет!

И, бросившись к бричке, схватили маленького рыцаря на руки и понесли его на крыльцо, повторяя:

– Здравствуй! Здравствуй, товарищ дорогой! Ты теперь с нами, и мы тебя не пустим. Да здоровствует Володыевский, первый кавалер, украшение всего войска! В степь с нами, брат! В Дикие Поля! Там ветер развеет твою печаль.

И только на крыльце они отпустили его. Он здоровался со всеми, растроганный оказанным ему приемом, потом сейчас же спросил:

– Как здоровье Кетлинга? Жив еще?

– Жив, жив! – ответили все хором, и усы старых солдат зашевелились от какой-то странной улыбки. – Пойдем, пойдем скорее, не то он еще вскочит: с таким нетерпением тебя ожидает.

– Видно, он уж не так близок к смерти, как говорил пан Заглоба! – заметил маленький рыцарь.

Они вошли в сени, а оттуда в большую комнату, где посередине стоял стол с заранее приготовленными закусками; в одном углу стоял мягкий диван, покрытый белой конской шкурой; на нем лежал Кетлинг.

– Друг мой! – сказал Володыевский, бросаясь к нему.

– Михал! – воскликнул Кетлинг и, вскочив на ноги, как совершенно здоровый человек, бросился в объятия маленького рыцаря.

Они обнимались так крепко, что поднимали друг друга кверху.

– Мне велели притвориться больным, – говорил шотландец, – даже Умирающим, но, увидев тебя, я не выдержал! Я здоров, как рыба, и ничего со мной не случилось. Мы только хотели тебя вырвать из монастыря. Прости, Михал! Эту ловушку мы устроили из любви к тебе!

– В Дикие Поля с нами! – снова крикнули рыцари и стали ударять мощными руками по саблям. В комнате раздалось грозное бряцание оружия.

Пан Михал изумился. С минуту он молчал, потом стал смотреть на всех, особенно на пана Заглобу, и, наконец, сказал:

– О, изменники! Я думал, что Кетлинг смертельно ранен.

– Как же это, Михал?! – воскликнул Заглоба. – Ты сердишься на то, что Кетлинг здоров? Ты желаешь ему смерти, а не здоровья? Вот как окаменело твое сердце, ты рад видеть всех нас на смертном одре, – и Кетлинга, и пана Орлика, и пана Рущица, и этих мальчиков, даже Скшетуского и меня, который любит тебя, как сына!

Тут пан Заглоба закрыл глаза и продолжал еще более жалобным голосом:

– К чему нам жизнь, мосци-панове, если на свете нет благодарности, а одна черствость сердец!

– Ради бога! – ответил Володыевский. – Я вам зла не желаю, но вы надсмеялись над моей скорбью!

– Он жизни нам желает! – повторил Заглоба.

– Да оставьте вы его!

– Он говорит, что мы надсмеялись над его скорбью, а мы над его несчастьем пролили целые потоки слез. Бога беру в свидетели, что твою скорбь мы готовы саблями изрубить, как всегда должны делать друзья. Но ты дал слово, что останешься с нами целый месяц, так хоть этот месяц люби нас!

– Я до самой смерти буду вас любить, – ответил Володыевский.

Дальнейший разговор был прерван появлением нового гостя. Солдаты, занятые паном Володыевский, не слышали даже, как этот гость приехал, они заметили его только тогда, когда он уже был в дверях. Это был мужчина огромного роста, с лицом римского цезаря, в котором отражались царственная мощь вместе с добротой и приветливостью. Он совершенно не был похож на всех этих солдат: он выделялся среди них, как орел, царь птиц, среди ястребов, коршунов и соколов.

– Пан гетман великий! – воскликнул Кетлинг и, как хозяин, бросился к нему навстречу.

– Пан Собеский! – повторили другие.

Все головы низко, почтительно склонились.

Кроме Володыевского, все знали, что гетман должен был приехать: он обещал Кетлингу; но все же прибытие его произвело большое впечатление, и с минуту никто не осмеливался заговорить первый. Это была великая милость с его стороны. Но пан Собеский очень любил своих солдат, особенно тех, которые вместе с ним громили татарские чамбулы; он смотрел на них, как на свою семью, и поэтому решил лично встретить Володыевского, утешить его и изъяснением особенной благосклонности удержать его в рядах войска.

Поздоровавшись с Кетлингом, он сразу протянул руки маленькому рыцарю, а когда тот подбежал и склонился к его коленам, гетман обнял его за голову.

– Ну, старый солдат, – сказал он, – ну же! Десница Божья пригнула тебя к земле, но она же тебя и подымет и утешит... Бог с тобой! Ты ведь останешься с нами?

Рыдания потрясли грудь пана Михала.

– Останусь! – сказал он сквозь слезы.

– Вот и хорошо! Таких, как ты, нам бы побольше! А теперь, старый товарищ, вспомним то время, когда мы с тобой садились за стол в походных палатках, в русских степях... Хорошо мне с вами! За дело, хозяин, за дело!

– *Vivat Joannes dux!*<sup>9</sup> – закричали все хором.

Начался пир и продолжался долго.

На следующий день пан гетман прислал Володыевскому в подарок гнедого жеребца большой ценности.

---

<sup>9</sup> Да здравствует Иоанн, предводитель! (*лат.*).

## VI

Кетлинг и Володыевский дали себе слово, как только представится случай, ездить по-прежнему стремя у стремени, греться у одного костра, спать на одном и том же седле в изголовье.

Но случай их разлучил не позднее как через неделю после их встречи. Из Курляндии прибыл гонец с известием, что тот Гасслинг, который усыновил и наделил состоянием молодого шотландца, теперь внезапно заболел и пожелал видеть своего приемного сына. Молодой рыцарь, недолго думая, сел на лошадь и поехал.

Перед отъездом он просил пана Заглобу и Володыевского считать его дом своим и жить у него до тех пор, пока им не надоест.

– Быть может, Скшетуские приедут, – говорил он, – к выборам сам Скшетуский, наверное, приедет, но если бы приехала и вся его семья, то и для нее найдется место. У меня нет родных, но и родные мне не были бы дороже вас!

Заглоба был особенно доволен этим приглашением: ему было очень удобно у Кетлинга; но и Володыевскому это было на руку.

Скшетуские не приехали, зато дала знать о своем приезде сестра Володыевского, которая была замужем за паном Маковецким, стольником летичевским. Нарочный поехал прежде всего к гетманскому двору, чтобы расспросить, не слыхал ли кто-нибудь из придворных про маленького рыцаря. Ему указали дом Кетлинга.

Володыевский очень обрадовался: много лет уже не видался он со своей сестрой, и, узнав, что она, не найдя подходящего помещения, остановилась в Рыбаках, в жалкой лачуге, он тотчас же помчался туда, чтобы пригласить сестру в дом Кетлинга.

Были уже сумерки, когда он приехал к ней; он узнал ее сразу, несмотря на то, что кроме нее в комнате находились еще две другие женщины. Она была низенькая и кругленькая, точно клубок ниток. Она тоже узнала его, и, упав друг другу в объятия, они долго не могли выговорить ни слова; он чувствовал ее теплые слезы на своем лице и сам всплакнул. Другие две женщины стояли тут же и молча смотрели на эту встречу.

Пани Маковецкая опомнилась первая и начала выкрикивать тонким и пискливым голосом:

– Столько лет, столько лет! Помоги тебе бог, дорогой брат! Как только пришло известие о твоём несчастье, я тотчас же собралась ехать. И муж меня не удерживал: со стороны Буджака идет гроза... Поговаривают и о белгородских татарах. И, должно быть, скоро зачёрнеют дороги – птицы тучами слетелись: это всегда бывает перед каждым набегом. Да утешит тебя Господь, брат дорогой! Муж сам приедет на выборы и сказал мне так: «Поезжай вместе с паннами раньше меня! Михала, говорит, в печали утетишь, да и без того надо куда-нибудь скрыться от татар: край будет в огне, все одно к одному и складывается». – «Поезжай, – говорит, – в Варшаву, займи, пока еще время есть, хорошее помещение, чтобы было где жить». Сам он отправляется на границу следить за неприятелем. Войска у нас мало. И всегда у нас так! Михал, ты мой дорогой! Подойди-ка к окну, дай тебя разглядеть получше! С лица ты похудел, но в печали иначе и быть не может. Мужу легко было сказать, сидя на Руси: «Поищи себе помещение получше» – а тут нигде ничего не найдешь. Вот мы все в этой избе, и я едва достала три вязанки соломы на ночь...

– Позволь, сестра!.. – сказал маленький рыцарь.

Но сестра не хотела позволить и продолжала трещать:

– Мы остановились здесь – больше негде было. Хозяева смотрят волками; может, они и дурные люди. Правда, с нами четверо людей, все молодцы-парни, да и сами мы не трусы: в наших краях и у женщин должно быть рыцарское сердце, иначе там жить нельзя. У меня

всегда с собой ружье, а у Баськи два пистолета. Только Кшися не любит оружия... Варшава город чужой, и лучше было бы нам остановиться в каком-нибудь надежном месте...

– Позволь, сестра! – повторил пан Володыевский.

– А где ты живешь, Михал? Ты должен мне помочь отыскать помещение, ведь ты в Варшаве человек бывалый...

– Квартира для тебя готова, – перебил ее Володыевский, – и такая просторная, что в ней мог бы поместиться и сенатор со всем своим двором. Я поселился у своего друга, капитана Кетлинга, и тебя сейчас же к нему перевезу.

– Но помни, что нас трое, да еще две служанки и четверо челядинцев. Ах, боже мой, я до сих пор тебя и не познакомила с нашей компанией!

Тут она обратилась к своим спутницам:

– Вы знаете, ваць-паньны, кто он, но он не знает, кто вы; познакомьтесь, хоть впотьмах. У нас до сих пор даже печки не затопили. Вот это – панна Кристина Дрогоевская, а та – панна Барбара Езерковская. Мой муж их опекун, они сироты, живут с нами. Жить самостоятельно таким молодым паннам не подобает.

Пока сестра говорила это, Володыевский поклонился обеим паннам по-военному, а они, слегка приподняв пальчиками платья, присели, причем панна Езерковская мотнула головой, как молодой жеребенок.

– Итак, садимся и едем, – сказал Михал. – Живет со мной пан Заглоба, которого я просил похлопотать насчет ужина.

– Тот самый знаменитый Заглоба? – вдруг спросила панна Езерковская.

– Баська, молчи! – сказала пани Маковецкая. – Я только боюсь, не хлопотно ли вам с нами будет?

– Уж если об ужине хлопочет пан Заглоба, – ответил маленький рыцарь, – то нас может приехать вдвое больше, и на всех хватит. Прикажете выносить вещи, ваць-паньны. Для вещей я взял тележку, а шарабан Кетлинга такой удобный, что мы вчетвером разместимся. Вот что мне пришло в голову: если слуги у вас не пьяницы, то пусть они подождут здесь до утра с вещами и с лошадьми, а мы захватим только самое необходимое.

– Незачем вещи оставлять, возы еще не распакованы, надо только запрячь лошадей и можно ехать. Баська, поди присмотри!

Панна Езерковская бросилась в сени и вскоре вернулась с известием, что все готово.

– Ну, и пора! – сказал Володыевский.

Через минуту они сидели уже в шарабане и ехали к Мокотову.

Пани Маковецкая с панной Дрогоевской поместились на заднем сиденье, а на передней скамейке – маленький рыцарь с панной Езерковской. Было уже темно, так что он не мог разглядеть их лица.

– Вы знаете Варшаву, ваць-паньны? – спросил маленький рыцарь, наклоняясь к панне Дрогоевской и возвышая голос, чтобы заглушить стук колес.

– Нет, – ответила она низким, но звучным голосом. – Мы настоящие провинциалки и до сих пор не знаем ни знаменитых городов, ни знаменитых людей.

Сказав это, она немного наклонила голову, как бы желая дать этим понять, что к числу таких людей она причисляет и Володыевского. Он с благодарностью принял ответ. «Какая обходительная девица!» – подумал он. И тотчас же начал ломать голову, каким бы комплиментом ей отплатить.

– Если бы этот город был в десять раз больше, то и тогда ваць-паньны могли бы служить лучшим его украшением, – сказал он наконец.

– А вы почему это знаете, ваць-пане? Ведь темно! – сказала вдруг панна Езерковская.

– Ишь, коза! – подумал пан Володыевский.

Но он ничего не ответил, и некоторое время они ехали молча; вдруг панна Езерковская опять обратилась к маленькому рыцарю:

– Вы не знаете, ваць-пане, хватит ли места в конюшне? У нас десять лошадей и две верховых.

– Хватит места и для тридцати.

– Фью, фью! – просвистела в ответ Бася.

– Баська! – остановила ее пани Маковецкая.

– Да, хорошо – Баська, Баська! А кто всю дорогу должен был думать о лошадях?

Беседуя так, они, наконец, подъехали к дому Кетлинга. По случаю приезда гостей все окна были ярко освещены. Навстречу им выбежала прислуга с паном Заглобой во главе, он бросился к повозке и, увидав трех женщин, спросил:

– В лице кого я буду иметь честь приветствовать сестру моего лучшего Друга Михала и мою благодетельницу?

– Это я, – сказала пани Маковецкая.

Тогда Заглоба схватил ее руку и, целуя ее, повторял:

– Бью челом! Бью челом!

Потом он помог ей выйти из шарабана и почтительно проводил ее до сеней, шаркая ногами.

– Да будет мне позволено приветствовать вас еще раз за порогом этого дома! – говорил он по дороге.

Тем временем пан Михал помогал выходить паннам. А так как шарабан был высокий и впотьмах трудно было отыскать ногой подножку, то он взял панну Дрогоевскую за талию и, приподняв ее, быстро поставил на землю; она, не сопротивляясь, на мгновение коснулась своей грудью его груди и сказала:

– Благодарю вас!

Потом Володыевский обратился к панне Езерковской, но та уже соскочила по другую сторону экипажа, и ему оставалось только подать руку панне Дрогоевской. В комнате они познакомились с паном Заглобой, который при виде двух девиц пришел в отличное настроение и тотчас пригласил всех к Ужину. На столе уже стояли дымящиеся миски, и как предвидел пан Володыевский, всего было так много, что будь народу вдвое больше, хватило бы на всех.

Все сели за стол. Пани Маковецкая заняла первое место; по правую руку от нее сел пан Заглоба, за ним панна Езерковская, Володыевский сел по левую сторону, рядом с панной Дрогоевской.

И только теперь маленький рыцарь мог разглядеть девиц. Обе они были красивы, но каждая в своем роде. У Дрогоевской были черные, как смоль, волосы, такие же брови, большие голубые глаза, несколько смуглая, но бледная кожа, такая нежная, что сквозь нее на висках просвечивали синие жилки. Едва заметный темный пушок покрывал ее верхнюю губу, оттеняя прелестный рот, как бы сложенный для поцелуя. Она была в трауре, так как недавно лишилась отца. Черный цвет, при нежности ее кожи и цвете ее волос, придавал ей грустный и даже строгий вид. На первый взгляд она казалась старше своей подруги, но всмотревшись лучше, пан Михал заметил, что и под этой прозрачной кожей текла кровь первой молодости. Чем больше он смотрел на нее, тем больше любовался: и ее величественной осанкой, и ее лебединой шеей, и ее стройным, полным девической прелести, станом.

«Это, должно быть, панна знатного рода, с величественной душой, – думал он. – Зато та, другая, настоящий мальчишка!»

И сравнение это было очень удачно.

Езерковская была гораздо ниже Дрогоевской и вся была миниатюрна, хотя и не худа; розовенькая и светловолосая. Ее волосы были острижены, очевидно, после болезни, и накрыты золотистой сеткой. Но на этой беспокойной головке даже волосы не хотели лежать спокойно:



они торчали изо всех отверстий сетки, а на лбу образовывали светлую прядь, которая падала на брови, что при ее быстром, беспокойном взгляде и при задорном выражении лица делало это розовое личико похожим на лицо школьника, который только и думает, как бы безнаказанно напроказничать. Но она была такая свеженькая и такая хорошенькая, что трудно было оторвать от нее глаза; тоненький носик, несколько вздернутый кверху, с подвижными, постоянно раздувающимися ноздрями, ямочки на щеках и на подбородке – говорили о веселом нраве.

Теперь она сидела смирно, ела со вкусом и то и дело бросала быстрые взгляды то на пана Заглобу, то на пана Володыевского; и смотрела на них с детским любопытством, точно на какую-нибудь дикувинку.

Пан Володыевский молчал, хотя чувствовал, что ему следовало бы занять разговором панну Дрогоевскую: он не знал, с чего начать. Маленький рыцарь был вообще не очень ловок с женщинами, а теперь к тому же он был еще печален: вид этих двух девушек так живо напомнил ему его дорогую покойницу...

Зато пан Заглоба занимал пани Маковецкую, рассказывая ей о подвигах пана Михала и о своих собственных. В середине ужина он начал рассказ о том, как некогда они с княжной Курцевич и с Жендзяном спасались от целого чамбула татар и как, наконец, чтобы спасти княжну и остановить погоню, они вдвоем с Володыевским бросились на весь чамбул.

Панна Езерковская даже есть перестала; опершись подбородком на руку, она слушала внимательно, ежеминутно встряхивая своими волосами, моргая глазами и шелкая пальцами от нетерпения в самых интересных местах, и повторяла:

– Ага! Ага! Ну, и что? Ну, и что?

А когда Заглоба дошел до того места, как драгуны Кушеля неожиданно подоспели к ним на помощь и разбили татар, бросившись за ними в погоню, и продолжали рубить их на протяжении полумили, панна Езерковская не могла уже удержаться и, изо всех сил захлопав в ладоши, воскликнула:

– А чтоб его! Вот бы мне там быть...

– Баська, – остановила ее толстая пани Маковецкая, – ты приехала к воспитанным людям, отучись ты от своего «А чтоб его!». Только того недостает, чтобы ты крикнула: «А чтоб меня разорвало!»

Девушка засмеялась своим свежим, звучным, серебристым смехом и, вдруг ударив руками по коленям, воскликнула:

– А, чтоб меня разорвало, тетушка!

– О, Господи! Уши вянут! Извинись перед всем обществом, – сказала Маковецкая.

Тогда Баська, желая начать извинение с пани Маковецкой, быстро вскочила с места, уронив при этом нож и ложку, и юркнула вслед за ними под стол.

Толстушка Маковецкая не могла больше удержаться от смеха. Смеялась она странно: сначала тряслась всем телом, а потом начинала пищать тоненьким голоском. Все развеселились. Заглоба был в восторге.

– Ну, смотрите, что мне делать с этой девочкой! – повторяла, трясясь от смеха, пани Маковецкая.

– Просто – прелесть! Ей-богу! – говорил Заглоба.

Между тем панна Бася вылезла из-под стола; она нашла ложку и нож, но потеряла сетку с головы; волосы совсем упали ей на глаза. Выпрямившись и шевельнув ноздрями, она сказала:

– Ага! Вы над моим конфузом смеетесь? Ладно!

– Никто не смеется! – сказал тоном убеждения Заглоба. – Никто и не думает смеяться. Мы только довольны, что в лице ваць-панной Бог послал нам радость!

После ужина все перешли в гостиную. Панна Дрогоевская, увидав висевшую на стене лютню, начала перебирать струны. Володыевский попросил ее спеть что-нибудь, на что она просто и ласково согласилась.

- Я готова, если только смогу хоть немножко рассеять вашу грусть.
- Благодарю вас, – ответил маленький рыцарь, поднимая на нее с благодарностью глаза. Вскоре раздалось пение:

Рыцари, верьте,  
В поле от смерти  
Латы стальные спасают...  
Но и без крови  
Стрелы любви  
Сердце сквозь латы пронзают...

– Уж я и не знаю, как мне благодарить вас, пани, – говорил Заглоба, сидя поодаль с пани Маковецкой и целуя ее руки, – что вы и сами приехали, и привезли с собой таких красавиц, что они и граций за пояс заткнут. Особенно по сердцу мне вот этот гайдучок; такая шельмовочка какую хотите печаль разгонит, что кошка – мышей. Ибо что есть печаль, как не мыши, которые грызут зерна веселья, сложенные в наших сердцах? Надо вам знать, пани, что наш прежний король Joannes Casimirus так любил мои сравнения, что ни одного дня не мог без них обойтись. Я должен был составлять для него пословицы и мудрые изречения – он приказывал их читать ему на сон грядущий и согласно с ними вел свою политику. Но это другой вопрос. Я уверен, что в столь приятном обществе Михал окончательно забудет свое несчастье. Вы не знаете, пани, что только неделю тому назад я вырвал его из монастыря камедулов, где он уже собирался произнести обет. Но я снискал покровительство нунция, который заявил настоятелю, что если Михала сейчас же не выпустят, то он всех монахов отдаст в драгуны. Ему там нечего делать! Слава богу! Слава богу! Я знаю его! Не сегодня, так завтра которая-нибудь из этих двух высечет такие искры, что сердце его вспыхнет от них, как трут. Между тем панна Дрогоевская продолжала петь:

...Стрелы любви  
Сердце сквозь латы пронзают...

– Женщины так же боятся этих стрел, как собака сала, – шепнул Заглоба пани Маковецкой. – Но сознайтесь, ваць-пани, что вы не без некоей скрытой цели привезли сюда этих синичек? И что за девушки! Особенно этот гайдучок. Ей-богу! Хитрая сестричка у пана Михала, не правда ли?

Пани Маковецкая действительно сделала очень хитрую мину, которая совсем не шла к ее открытому простодушному лицу, и сказала:

– Разное в голову приходило. У нас, женщин, нет недостатка в проницательности... Муж мой приедет на выборы, а я с девушками приехала раньше; того и гляди, к нам татары пожалуют. А если бы из всего этого вышло что-нибудь хорошее для Михала, то я дала бы обет пешком на богомолье отправиться.

– Выйдет, выйдет! – сказал Заглоба.

– Обе девушки знатного рода и обе богаты, а это в нынешнее тяжелое время что-нибудь да значит.

– Не мне это говорить! Состояние Михала война съела, но я знаю, что у него есть деньги, отданные под расписку разным знатым панам. Не раз брали мы с ним богатую добычу, мосци-пани, и хотя все это поступало в распоряжение гетмана, все же часть шла в дележку, как это у нас говорится по-солдатски: «на саблю». На долю Михала приходилось не раз так много, что если бы он сберег все, то у него было бы прекрасное состояние. Но ведь солдат о завтрашнем

дне не думает, а гуляет, коли есть деньги. Михал спустил бы все, если бы я его не удерживал. Вы говорите, что эти девушки знатного рода?

– В Дрогоевской сенаторская кровь. Конечно, наши пограничные каштеляны не то что краковские, есть и такие, про которых в Речи Посполитой никто не слышал; но все же раз кто занял сенаторское место, то блеск сего звания он передает и потомству. Что же касается родственных связей, то Езерковская еще знатнее Дрогоевской.

– Скажите пожалуйста! Я сам происхожу от некоего короля масагетов, а потому люблю слушать о происхождении других.

– Ну, у Езерковских столь высоких предков нет, но если вам угодно послушать... мы ведь в наших краях по пальцам можем перечислить родословную каждого дома... Так вот, она родственница и Потоцких, и Язловецких, и Лащей. Было это вот как.

Тут пани Маковецкая расправила складки своего платья, уселась поудобнее, чтобы ничто не могло помешать излюбленному рассказу. Она расставила пальцы на одной руке и приготовила указательный палец другой для пересчитывания дедушек и бабушек, затем начала:

– Дочь пана Якова Потоцкого, Елизавета, от второй его жены Язловецкой, вышла за пана Яна Сметанко, хорунжего подольского.

– Усвоил!

– От этого брака родился пан Миколай Сметанко, тоже хорунжий подольский.

– Гм... Прекрасное звание!

– Он был женат первый раз на Дорогостай... нет, на Рожинской... нет, на Воронич... А чтоб ее! Забыла.

– Царство ей небесное, как бы там ее ни звали! – сказал серьезно Заглоба.

– А второй раз он женился на панне Лащ.

– Я так и знал! Ну, и каковы же были последствия этого брака?

– Сыновья их перемерли...

– Никакая радость не долговечна на этом свете...

– А из четырех дочерей самая младшая, Анна, вышла за Езерковского, герба Равич, комиссара по разграничению Подолии; если не ошибаюсь, он был потом мечником подольским.

– Был, помню! – с уверенностью подхватил Заглоба.

– От этого брака, видите ли, родилась Бася.

– Вижу, как вижу и то, что она сейчас целится в окно из кетлинговского мушкета.

И действительно, панна Дрогоевская и маленький рыцарь были заняты беседой, а панна Бася развлекалась прицеливанием из мушкета. Увидев это, пани Маковецкая затряслась и запищала:

– Вы представить себе не можете, сколько мне хлопот с этой девушкой! Настоящий гайдамак!

– Если бы все гайдамаки были такие, я бы сейчас же к ним пристал...

– У нее на уме только оружие, лошади и война. Однажды вырвалась она из дому с ружьем на охоту за утками. Залезла куда-то в камыши, смотрит: тростник раздвигается, и что же она видит? Голову татарина, который камышами пробирался к деревне... Другая бы испугалась, а эта, бедовая, трах из ружья – татарин бултых в воду. Представьте себе: на месте! И чем? Утиной дробью!..

Тут пани Маковецкая затряслась и захихикала над приключением с татаринком, а потом прибавила:

– И правду говоря, она спасла нас всех, так как шел целый чамбул. Вернувшись домой, она подняла тревогу, и мы с челядью успели спрятаться в лес. У нас так постоянно!

Лицо Заглобы выражало такой восторг, что он даже прищурил глаз на минуту, потом, вскочив с места, подбежал к девушке и, прежде чем она успела опомниться, поцеловал ее в лоб.

– Это от старого солдата за того татарина в камышах! – сказал он.

Девушка тряхнула своими светлыми волосами.

– А что? Задала я ему перцу?! – воскликнула она своим свежим детским голосом, который так не соответствовал смыслу ее слов.

– Ах ты, мой гайдучок дорогой! – сказал растроганный Заглоба.

– Ну что там один татарин! Вы их целыми тысячами рубили – и шведов, и немцев, и венгров. Что я в сравнении с вами, – таких рыцарей, как вы, нет во всей Речи Посполитой! Я это прекрасно знаю.

– Если ты такой воин, так мы тебя подучим работать саблей. Я уж тяжеловат стал, но ведь и пан Михал мастер.

В ответ на это предложение девушка подпрыгнула от радости, затем поцеловала пана Заглобу в плечо и, сделав реверанс маленькому рыцарю, сказала:

– Благодарю за обещание! Я уже немножко умею!

Но Володыевский был всецело занят разговором с Кшисей Дрогоевской и ответил рассеянно:

– Все, что только прикажете, ваць-панна!

Заглоба с сияющим лицом опять присел к пани Маковецкой.

– Благодетельница моя! Я знаю: уж на что хороши турецкие лакомства (я долго в Стамбуле пробыл), но знаю и то, что до них есть много охотников. Как же могло случиться, что не нашлось охотников и до этой девушки?

– Господи! В женихах недостатка не было у обеих. А Баську мы в шутку называем вдовой трех мужей, ибо за нею ухаживали сразу три достойных кавалера: пан Свирский, пан Кондрацкий и пан Цвилюховский. Все трое – шляхтичи и помещики; я могу изложить вам и их родословную.

Сказав это, пани Маковецкая опять расставила пальцы левой руки, оттопырила указательный правой, но пан Заглоба успел спросить:

– Что же с ними случилось?

– Все трое сложили голову на войне, потому мы и называем Баську вдовой.

– Гм... А она это перенесла?

– Видите ли, у нас это дело обыкновенное, и редкий человек умирает естественной смертью, дожив до старости. У нас даже говорят, что шляхтичу и не подобает умирать иначе, как на поле брани. Как Бася перенесла? Поревела немного, бедняжка, и все пряталась на конюшню: у нее как только горе – сейчас на конюшню! Пошла я раз за ней и спрашиваю: «Ты по ком из них плачешь?» А она отвечает: «По всем по трем». Из этого ответа я сейчас же поняла, что ни один из них ей особенно не нравился... И думаю, что до сих пор голова ее не тем занята и воли Божьей она еще не чувствует. Кшися скорее, а Бася еще как будто не чувствует.

– Почует! – сказал Заглоба. – Мы с вами это лучше всего понимаем! Почует! Почует!

– Таково уж наше назначение! – ответила пани Маковецкая.

– Верно! Я только что хотел это сказать.

Но подошла молодежь и прервала их разговор.

Маленький рыцарь уже совсем освоился с Кшисей, а она, очевидно, по доброте души, утешала его и занималась Володыевским, как лекарь занимается больным. И быть может, поэтому выказывала она ему больше расположения, чем это позволяло такое короткое знакомство. Но пан Михал был братом пани Маковецкой, а панна – племянницей ее мужа, и потому это никого не удивляло. Зато Бася осталась как-то в стороне, и только пан Заглоба все время обращался к ней. Впрочем, ей это, по-видимому, было все равно, интересуются ею или нет. Сначала она с удивлением глядела на обоих рыцарей, но с таким же удивлением смотрела она и на прекрасное оружие Кетлинга, развешанное на стенах. Потом она стала позевывать, потом глаза ее стали слипаться, и, наконец, она сказала:

– Как завалюсь спать, так проснусь разве лишь послезавтра!

После этих слов все тотчас же разошлись: дамы были очень утомлены с дороги и только ждали, когда им постелят постели. Когда же, наконец, пан Заглоба остался наедине с Володыевским, он сначала стал многозначительно подмигивать, а потом слегка колотить маленького рыцаря по спине.

– Михал! Ну что, Михал? Настоящие репки? А? Монахом сделаешься? А та лесная ягодка, Дрогоевская, хороша? А розовенький гайдучок, ух! Ну что, Михал?

– Да что, – ничего! – отвечал маленький рыцарь.

– Особенно мне понравился этот гайдучок. Скажу тебе, что, когда я за ужином сидел с ней рядом, мне так жарко было, точно у печки.

– Она еще постреленок... Та, другая, степеннее.

– Дрогоевская – венгерская слива, настоящая венгерская слива! Но та – орешек! Ей-богу! Будь у меня зубы... то есть, я хотел сказать, будь у меня такая дочь... я бы тебе одному ее отдал! Миндалинка! Говорю тебе, миндалинка!

Володыевский вдруг стал грустен: ему припомнились прозвища, которые пан Заглоба давал когда-то Анусе Божобогатой. Она встала перед ним, как живая; ее маленькое личико, ее темные косы, ее веселость, ее щебетание, ее взгляды. Эти две были моложе, но та ведь была во сто раз дороже всех самых молоденьких.

Маленький рыцарь закрыл лицо руками, и тоска охватила его с тем большею силой, что она была неожиданна.

Заглоба удивился; молча и с беспокойством смотрел он некоторое время на пана Михала, потом сказал:

– Михал, что с тобой? Скажи хоть слово, ради бога!

Володыевский сказал:

– Так их много, столько их ходит по свету, и только моего ягненочка уж нет, только ее одной я уже больше никогда не увижу...

Боль сдавила ему горло, он опустил голову на край стола, сжал губы и прошептал:

– Боже! Боже! Боже!

## VII

Панна Бася все-таки подкараулила Володыевского и заставила его учить ее фехтованию. Он ей не отказал, ибо хотя по-прежнему предпочитал Дрогоевскую, но полюбил и Басю, да, впрочем, трудно было ее не полюбить. Первый урок был как-то утром. Бася хвасталась и уверяла, что она владеет уже фехтовальным искусством очень недурно и что немногие смогут устоять против нее.

– Меня учили старые солдаты, – говорила она, – а у нас в них нет недостатка. А ведь всем известно, что нет лучше наших рубак... Еще вопрос, не найдете ли вы там равных себе?

– Что вы говорите, ваць-панна, – сказал Заглоба, – в целом свете нам равных нет.

– Хотела бы я, чтобы оказалось, что и я равная! Не надеюсь, но хотела бы!

– В стрельбе из пистолета и я бы попробовала состязаться! – сказала, смеясь, пани Маковецкая.

– Ей-богу, в Летичеве, должно быть, одни амазонки живут! – сказал Заглоба. И обратился к Дрогоевской: – А вы, ваць-панна, каким оружием лучше всего владеете?

– Никаким, – отвечала Кшися.

– Ага! Никаким?! – воскликнула Бася и, передразнивая Кшисю, запела:

Рыцари, верьте,  
В поле от смерти  
Латы стальные спасают...  
Но и без крови  
Стрелы любви  
Сердце сквозь латы пронзают...

– Вот каким оружием она владеет. Не бойтесь! – прибавила она, обращаясь к Володыевскому и к Заглобе. – Она тоже стрелок не последний.

– Выходите, ваць-панна! – сказал пан Михал, желая скрыть свое смущение.

– О, Господи! Если бы оказалось так, как я думаю! – воскликнула Бася, краснея от радости.

И сейчас же стала в позицию: держа в правой руке легкую польскую сабельку, левую она заложила за спину; с выдвинутой головой, она в эту минуту была так хороша, что Заглоба шепнул пани Маковецкой:

– Никакая бутылка, пусть даже столетнего венгерского, не обрадовала бы меня своим видом так, как эта девушка!

– Заметьте, – сказал Володыевский, – я буду только защищаться и ни разу не ударю, а вы нападайте сколько душе угодно.

– Хорошо! Когда вы захотите, чтобы я перестала, скажите только слово!

– Я бы и так мог кончить, если бы только захотел...

– Как же так?

– У такого фехтовальщика, как вы, я легко мог бы вышибить саблю из рук.

– Увидим!

– Не увидим, ибо я этого не сделаю из учтивости.

– Никакой учтивости мне не нужно! Сделайте, если сможете! Я знаю, что дерусь хуже вас, но до этого не допущу!

– Итак, вы позволяете?

– Позволяю!

– Да брось ты, гайдучок миленький! – сказал Заглоба. – Он это проделывал с величайшими мастерами.

– Увидим! – повторила Бася.

– Начинайте! – сказал Володыевский, несколько раздраженный хвастовством девушки. Они начали.

Бася ударила с силой, подпрыгнув, как полевой кузнечик. Володыевский, по своему обыкновению, стоял на месте, делая едва заметные движения саблей и почти не обращая внимания на ее нападение.

– Вы от меня, как от назойливой мухи, отмахиваетесь! – раздраженно крикнула Бася.

– Я ведь с вами не дерусь, а только учу вас, – ответил маленький рыцарь. – Вот так, хорошо! Как для женщины, совсем недурно. Спокойнее рукой!

– Как для женщины? Вот вам за женщину! Вот вам! Вот вам!

Но пан Володыевский, несмотря на то, что Бася пустила в ход все свои излюбленные приемы, был неуязвим. Он еще нарочно заговорил с Заглобой, чтобы показать, как мало обращает внимания на удары Баси.

– Отойдите от окна, а то панне темно; хоть сабля и больше иголки, но все же иголкой панна лучше владеет, чем саблей.

Ноздри Баси еще больше раздулись, а ее волосы совсем упали на ее сверкающие глазки.

– Что же это – пренебрежение? – спросила девушка, тяжело дыша.

– Но не лично к вам. Боже сохрани!

– Я терпеть не могу пана Михала!

– Вот тебе, бакалавр, за науку! – ответил маленький рыцарь. И, обращаясь к Заглобе, сказал:

– Ей-богу, снег идет!

– Вот вам снег, снег, снег! – повторяла Бася, наступая.

– Баська, довольно! Ты уже еле дышишь, – сказала пани Маковецкая.

– Ну, держите саблю крепче, а то выбью! – сказал Володыевский.

– Увидим.

– А вот!

И сабелька, выпорхнув, как птичка, из руки Баси, со звоном упала около печки.

– Это я сама! Нечаянно! Это не вы!.. – воскликнула Бася со слезами в голосе; и, мигом подняв саблю, стала снова наступать.

– Попробуйте-ка теперь!..

– А вот! – повторил пан Михал.

И сабелька опять очутилась у печки.

– На сегодня довольно, – сказал пан Михал.

Пани Маковецкая затряслась и запищала еще больше обыкновенного. Бася стояла среди комнаты, смущенная, ошеломленная, тяжело дыша и кусая губы, чтобы сдержать слезы, которые упорно подступали к глазам: она знала, что, если она заплачет, над нею еще больше будут смеяться, и во что бы то ни стало старалась удержаться от слез, но видя, что ей это не удастся, она вдруг выбежала из комнаты.

– Господи! – воскликнула пани Маковецкая. – Она, верно, на конюшню убежала, а разгорячилась так, что, пожалуй, простудится! Надо идти за нею! Кшися, не ходи!

Сказав это, она схватила шубку и побежала в сени, за нею побежал Заглоба, беспокоясь за своего гайдучка. Хотела бежать и Дрогоевская, но маленький рыцарь схватил ее за руку.

– Вы слышали приказание? Я не выпущу этой ручки, пока они не вернутся.

И действительно не выпускал. А ручка была мягкая, как атлас. Пану Михалу казалось, что какая-то теплая влага переливается из этих тонких пальчиков в его кости и вызывает во всем теле сладкую истому; и он сжимал эту руку все крепче.

Смуглые щеки Кшиси покрылись легким румянцем.

– Видно, я пленница, взятая в неволю! – сказала она.

– Кому досталась бы такая пленница, тот бы и султану мог не завидовать; да и сам султан за такую добычу отдал бы полцарства.

– Но вы бы меня басурманам не продали?

– Как и души дьяволу, не продал бы!

Тут пан Михал спохватился, что в этом минутном увлечении он зашел слишком далеко, и прибавил:

– Как не продал бы и сестры!

Дрогоевская на это ответила серьезно:

– Вот это вы хорошо сказали. По чувству я сестра пани Маковецкой, буду и вам сестрой.

– От всего сердца благодарю! – сказал пан Михал, целуя ее руку. – Я очень нуждаюсь в утешении.

– Знаю, знаю, – сказала девушка, – я тоже сирота!

Тут слезинка скатилась у нее с ресниц и упала на пушок, покрывавший верхнюю губу.

А Володыевский глядел на слезинку, на губы, слегка оттененные пушком, и, наконец, сказал:

– Вы добры, как ангел. Мне уже легче!

Кшиси ласково улыбалась.

– Дай вам Бог!

Маленький рыцарь чувствовал, что если бы он еще раз поцеловал ее руку, то ему стало бы еще легче; но как раз в эту самую минуту вошла пани Маковецкая.

– Баська шубку взяла, но она так сконфужена, что ни за что не хочет идти. Пан Заглоба бежит за ней по всей конюшне.

И, действительно, Заглоба, не жалея ни утешений, ни убеждений, не только гонялся за нею по всей конюшне, но даже заставил ее бежать во двор, в надежде, что она скорее вернется в теплую комнату.

А она убегала от него, повторяя: «Вот и не пойду! Пускай простужусь, а не пойду!» Наконец, увидав около дома столб с перекладинами, а на нем лестницу, она вскарабкалась как белка, вскочила на лестницу и остановилась только на крыше. Усевшись там, она, уже смеясь, сказала Заглобе:

– Хорошо, пойду, если вы влезете сюда за мной.

– Да разве я кот, чтобы за тобой по крышам лазить, гайдучок? Так-то ты мне платишь за мою любовь?

– И я вас люблю, да с крыши!

– Дед свое, а баба свое. Слезть мне сейчас же!

– Не слезу!

– Смешно, ей-богу! Так принимать к сердцу конфуз. Ведь не одной тебе, сорванец, самому Кмицицу, который считался мастером, каких мало, Володыевский сделал то же самое, и не в шутку, а в поединке. Самые знаменитые итальянские, немецкие и шведские фехтовальщики не могли против него устоять дольше минуты, а тут такой жук, как ты, принимает это к сердцу. Фи, стыдно! Слезай, слезай! Ведь ты только учишься!

– А пана Михала я ненавижу.

– Бог с тобой! За то, что он искусен в том, чему ты сама хочешь учиться? Ты должна его тем более любить!

Пан Заглоба не ошибался. Бася, несмотря на свою неудачу, стала еще больше преклоняться перед маленьким рыцарем, но ответила:

– Пускай Кшиси его любит.

– Слезай, слезай!



– Не слезу!

– Хорошо, сиди; скажу тебе только, что молодой девице неприлично сидеть на лестнице. Ведь снизу-то для всех – прекрасное зрелище!

– Неправда, – сказала Бася, оправляя руками юбку.

– Я – старик, глядеть не стану, но вот сейчас позову сюда других.

– Слезаю! – воскликнула Бася.

Тут Заглоба повернулся в сторону дома.

– Ей-богу, кто-то идет! – сказал он.

И, действительно, из-за угла показался молодой пан Нововейский, который приехал верхом, привязал лошадь около боковых ворот, а сам обошел кругом дома, чтобы пройти парадным ходом.

Бася, увидав его, в два прыжка очутилась на земле. Но было уже поздно. Пан Нововейский видел, как она прыгала с лестницы. Он смутился, изумился и покраснел, как девушка. Бася была смущена не менее его. И, наконец, воскликнула:

– Второй конфуз!

Пан Заглоба, очень довольный, подмигивал своим здоровым глазом и, наконец, сказал:

– Пан Нововейский, приятель и подчиненный пана Михала, а это панна Лестницовская... Тьфу... Я хотел сказать: Езерковская.

Нововейский скоро пришел в себя, а так как он был находчив, хоть и молод, то поклонился и, подняв глаза на чудное видение, сказал:

– Господи! В саду Кетлинга розы на снегу цветут!

А Бася, присев, пробормотала: «Только не для твоего носа!» Потом прибавила любезно:

– Пожалуйста в комнаты!

И побежала вперед и, влетев в комнату, где сидел пан Михал и дамы, она объявила во всеуслышание, намекая на красный кунтуш пана Нововейского:

– Снегирь прилетел!

Потом уселась, сложила руки, сложила губки бантиком, как подобает скромной и благовоспитанной панне.

Пан Михал представил сестре и Кшисе Дрогоевской молодого приятеля, а он, увидав еще одну панну, хотя и в другом роде, но тоже красавицу, смутился опять; но скрыл свое смущение поклоном и, чтобы приободриться, протянул руку к усам, которых у него еще не было. Потом, обратившись к Володыевскому, он рассказал ему о цели своего приезда. Пан гетман великий очень желал видеть маленького рыцаря. Насколько Нововейский догадывался, дело касалось какого-то военного предприятия: гетман получил несколько писем от пана Вильчковского, от пана Сильницкого, от полковника Пива и от других комендантов, рассеянных по всей Украине и Подолии. В письмах сообщалось о крымских событиях, которые не предвещали ничего хорошего.

– Сам хан и султан Галга, который заключил с нами подгаецкий мирный трактат, – продолжал Нововейский, – хотят поддерживать мир; но Буджак шумит, как роящийся улей; Белгородская орда тоже. Они не хотят слушаться ни хана, ни султана Галги.

– Мне уже сообщал об этом пан Собеский и спрашивал у меня совета, – сказал Заглоба. – Ну а что там теперь толкуют о весне?

– Говорят, с первой же травой опять нахлынет эта татарская саранча, которую опять придется давить! – ответил пан Нововейский. И сделал такую грозную мину, так усердно стал покручивать несуществующие усы, что у него даже покраснела верхняя губа.

Бася сейчас же это заметила, откинулась немного назад, чтобы ее не видал пан Нововейский, и, подражая молодому кавалеру, тоже начала покручивать усы. Пани Маковецкая оставалась ее взглядом, но в то же время вся затряслась от сдерживаемого смеха. Пан Михал кусал губы, а Дрогоевская опустила глаза так, что ее длинные ресницы бросали тень на лицо.

– Хотя вы еще и молодой человек, ваць-пане, но опытный солдат! – сказал Заглоба.

– Мне двадцать два года, и семь из них я служу отчизне, ибо пятнадцати лет я убежал из школы, – ответил юноша.

– Он и со степью знаком, и в траве ходить умеет, и нападать на ордынцев, как ястреб на куликов, – прибавил Володыевский. – Загонщик хоть куда! От него татарин в степи не скроется!

Пан Нововейский покраснел от удовольствия, что его похвалил такой славный рыцарь в присутствии дам.

Это был не только степной ястреб, но и красивый малый, смуглый, загорелый от ветров. На лице у него был рубец от уха до носа. Глаза у него были зоркие, привыкшие смотреть вдаль; над ними черные, густые, сросшиеся посередине, наподобие татарского лука, брови. На бритой голове поднимался черный взъерошенный чуб. Басе он понравился и разговором, и осанкой, а все же она не переставала его передразнивать.

– Приятно видеть старикам, как я, что растет достойное нас молодое поколение!

– Нет. Еще не достойное! – ответил Нововейский.

– Хвалю за скромность! Того и гляди, что вам скоро поручат команду над небольшим отрядом.

– Как же! – воскликнул пан Михал. – Он уже командовал отрядом и на собственную руку громил неприятеля.

Пан Нововейский стал так сильно крутить усы, что чуть не оторвал себе губы.

А Бася, не спуская с него глаз, подняла обе руки к лицу и подражала ему во всем.

Но догадливый воин вскоре заметил, что глаза всех присутствующих направлены куда-то в сторону, в том направлении, где несколько позади его сидела панна, которую он видел спрыгивавшей с лестницы, и он сейчас же догадался, что она что-то против него затевает.

И как будто ничего не замечая, он продолжал разговаривать и по-прежнему покручивал усы; наконец, улучив минуту, он вдруг обернулся, и так быстро, что Бася не успела ни отвернуться, ни отнять рук от лица.

Она страшно покраснела и, не зная, что ей делать, встала с кресла. Все тоже смешались, и наступила минута молчания.

Вдруг Бася всплеснула руками и крикнула своим серебристым голосом:

– Третий конфуз!

– Мосци-панна, – сказал Нововейский, – я сейчас же заметил, что там за мной что-то неладно... Признаюсь, по усам я тоскую, но если я их не дожусь, то только потому, что раньше сложу голову за отчизну, а в таком случае я надеюсь, что скорее заслужу у вас сожаление, чем насмешку.

Бася стояла, опустив глаза: искренние слова молодого человека пристыдили ее еще больше.

– Вы должны простить ее, – сказал Заглоба, – молодо-зелено, но сердце у нее золотое!

А она, как бы подтверждая слова пана Заглобы, шепнула тихонько:

– Извините, ваць-пане! Очень прошу!

В эту самую минуту пан Нововейский схватил ее руки и начал целовать их.

– Ради бога! Не принимайте этого к сердцу! Ведь я не варвар какой-нибудь! Мне нужно просить у вас прощения, что посмел помешать вашей забаве. Мы, военные, сами любим шутки. *Mea culpa!*<sup>10</sup> Еще раз поцелую эти ручки, и если мне придется целовать их до тех пор, пока вы мне не простите, то, пожалуйста, не прощайте хоть до вечера.

– О, какой вежливый кавалер! Видишь, Бася? – сказала пани Маковецкая.

– Вижу! – ответила Бася.

---

<sup>10</sup> Моя вина (*лат.*).

– Ну, вот и хорошо! – воскликнул Нововейский.

Сказав это, он выпрямился и по привычке протянул руку к усам. Но сейчас же спохватился и чистосердечно расхохотался. За ним засмеялась и Бася, за Басей другие. Всем стало весело. Заглоба велел сейчас же принести из погреба Кетлинга пару бутылочек, и всем стало еще веселее. Пан Нововейский, постукивая шпорами, ероша пальцами волосы, все чаще устремлял на Басю свой огненный взор. Бася ему очень понравилась. Он стал необыкновенно разговорчив, а так как, состоя при гетмане, он вращался в большом свете, то ему было о чем рассказывать.

Он говорил о конвокационном сейме, о его окончании, и о том, как в сенате, к великому удовольствию всех присутствующих, провалилась печка под натиском любопытных. Он уехал только после обеда. Его глаза и сердце были полны Басей.

## VIII

В тот же день маленький рыцарь отправился к гетману, который сейчас же велел его впустить и сказал:

– Мне надо Рушица в Крым послать, чтобы он присмотрел, что там затевают, и убедил хана блюсти мирный договор. Хочешь опять поступить на службу и принять вместо него команду? Ты, Вильчковский, Сильницкий и Пиво будете наблюдать за Дорошем и за татарами, которым никогда нельзя доверять.

Пан Володыевский опечалился. Ведь лучшие свои годы он провел на службе. Целые десятки лет он не знал покоя; жил всегда в огне, в дыму, в трудах, проводя бессонные ночи, голодая, живя без крыши над головой, без вязанки соломы под голову... Бог знает, чьей только крови не пролила его сабля. Менее заслуженные, чем он, живут себе по-пански, занимают высокие должности, достигли почестей, награждены староствами. Когда он начал служить, он был богаче, чем теперь. И все же им снова хотят выметать врагов, как старой метлой. И душа его разрывалась на части – только лишь нашлись дружеские, нежные руки, которые стали заживать его раны, а его уже посылают в пустынные, далекие окраины Речи Посполитой, не обращая внимания на то, что он очень измучен душой. Ведь если бы не служба, он мог бы хоть два года насладиться счастьем со своей Анусей.

Когда он подумал обо всем этом теперь, безмерная горечь наполнила его сердце; но отказываться от службы он считал делом, не достойным рыцаря, и потому ответил коротко:

– Поеду!

Но сам гетман сказал:

– Ты не на службе, – можешь отказаться. Ты лучше других знаешь, не слишком ли тебе рано отправляться.

– Мне и умереть уже не слишком рано! – сказал Володыевский.

Пан Собеский прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед маленьким рыцарем и дружески положил ему руку на плечо.

– Если до сих пор не обсохли твои слезы, то знай, что степной ветер высушит их! Всю жизнь ты служил, солдат, послужи и теперь. А если когда-нибудь придет тебе в голову, что тебя забыли, обошли, не наградили, не дали отдохнуть, что вместо куска мяса тебе дали корку сухого хлеба, вместо староства – раны, вместо отдыха – мучения, ты только стисни зубы и скажи: «Тебе, отчизна!» Другого утешения я тебе не дам, потому что у меня у самого его нет; но хотя я и не ксендз, я могу тебя уверить, что, служа так, ты дальше уедешь на своем потертом седле, чем другие в каретах шестернею, и что будут такие ворота, которые перед тобою откроются, а перед другими закроются.

– Тебе, отчизна! – подумал Володыевский, удивляясь при этом, как гетман мог так быстро разгадать его мысли.

А пан Собеский сел против него и продолжал:

– Я хочу говорить с тобою не как с подчиненным, но как с другом, как отец с сыном! Еще тогда, когда мы рубились с тобой при Подгайцах, и раньше, на Украине, когда мы едва могли осилить неприятеля, а тут, в самом сердце отчизны, злые люди, чувствуя себя в безопасности, у нас за спиной, своевольничали, заботились о личных выгодах, – мне не раз приходило в голову, что Речь Посполитая должна погибнуть. Слишком здесь своеволие господствует над порядком, слишком частные выгоды господствуют над общественным благом. Нигде ничего подобного нет! О! Как эти мысли мучили меня! И днем – в поле, и ночью – в шатре я думал: «Мы, солдаты, гибнем... Хорошо... Это наш долг, наша судьба... Но пусть бы мы знали хоть то, что с нашей кровью, которая течет из наших ран, вытекает и спасение для отчизны». Нет, и этого утешения не было! Ох! Тяжелые дни переживал я под Подгайцами, хотя с вами всегда

старался казаться веселым, чтобы вы не подумали, будто я отчаиваюсь в победе. «Нет людей! – думал я. – Людей нет, которые бы искренне любили свою отчизну!» И точно мне вонзили нож в сердце! Однажды (это было в последний день в подгаецком лагере), когда я послал две тысячи ваших в атаку против двадцати шести тысяч татар, и вы отправились на верную смерть, на убой, с такой охотой, с таким радостным криком, точно на свадьбу, – мне вдруг пришло в голову: «А эти мои солдаты?» И Бог в одну минуту снял камень с моего сердца, и все мне стало ясно: «Те, – думал я, – гибнут там из искренней любви к отчизне; они не примкнут к заговорщикам, не примкнут к изменникам; из них я создам святое братство, создам школу, в которой будет учиться молодое поколение. Их пример, их общество окажет влияние: пример этот возродит несчастный народ – и народ забудет своеволие, забудет личные интересы и встанет, как лев, чувствующий великую силу в своих членах... И удивит весь свет! Такое братство я создам из моих солдат».

И лицо пана Собеского разгорелось, он поднял кверху голову, напоминавшую голову римского цезаря, и, протянув руки, воскликнул:

– Господи! Не пиши на стенах наших мане, текел, фарес<sup>11</sup> и позволь мне возродить мою отчизну!

Наступило минутное молчание.

Маленький рыцарь сидел, опустив голову, и чувствовал, что он начинает дрожать всем телом.

Гетман некоторое время ходил быстрыми шагами по комнате, потом остановился перед маленьким рыцарем.

– Примеры нужны, – сказал он, – примеры ежедневные, которые бросались бы в глаза! Володыевский, я тебя зачислил в первые ряды нашего братства. Хочешь ты принадлежать к нему?

Маленький рыцарь встал и, обняв колени гетмана, сказал взволнованным голосом:

– Вот! Услыхав, что мне опять надо ехать, я подумал, что меня обижают, что мне надо дать отдых ради моего горя, а теперь я вижу, что согрешил, и... каюсь за такие мысли, и говорить не могу, ибо стыдно мне...

Гетман молча прижал его к груди.

– Нас – горсточка, – сказал он, – но другие последуют нашему примеру!

– Когда ехать? – спросил маленький рыцарь. – Я бы и в Крым мог отправиться: я там уже бывал!

– Нет, – сказал гетман. – В Крым я пошлю Рушица. У него там есть побратимы и даже однофамильцы, говорят, даже двоюродные братья, которые детьми были захвачены ордой, они обасурманились и дошли до высоких должностей у басурман. Они ему будут во всем помогать; а ты мне нужен в поле, ибо нет тебе равного загонщика.

– Когда мне ехать? – снова спросил маленький рыцарь.

– Не позже, как через две недели. Мне надо еще переговорить с паном коронным подканцлером и с паном подскарбием, написать письма Рушицу и дать ему инструкции. Но дело спешное, будь готов!

– С завтрашнего дня я буду готов.

– Да вознаградит тебя Бог за добрые желания, но так скоро не надо. Поедешь ты ненадолго, если только не будет войны, ты мне понадобишься в Варшаве во время выборов. Слышал о кандидатах? Что говорит о них шляхта?

– Я недавно покинул монастырь, а там не о мирских делах думают. Я знаю только то, что мне говорил пан Заглоба.

---

<sup>11</sup> Подсчитано, взвешено, измерено (по-арамейски).

– Правда! Я могу от него все разузнать. Он пользуется среди шляхты большим влиянием. А ты за кого подашь голос?

– Сам еще не знаю, но думаю, что нам нужен король из военных.

– Да, да! И я уже наметил такого. Одно имя его ужасает соседей-врагов; нам нужен человек военный, как был Стефан Баторий. Ну, будь здоров, солдатик... Нам нужен военный... Повторяй это всем... Будь здоров. Да наградит тебя Бог за готовность...

Пан Михал простился и ушел.

По дороге он все раздумывал. Бедняга был рад, что у него впереди еще неделя или две; ему была приятна та дружба и то утешение, которое ему давала Кшися Дрогоевская. Его радовало и то, что он вернется к выборам, и он возвращался домой уже без горечи в сердце. Да и степи имели для него некоторую прелесть, и он, хотя и бессознательно, по ним тосковал. Он слишком привык к этим беспредельным пространствам, где воин чувствует себя скорее птицей, чем человеком.

– Ну что ж, поеду в эти бескрайние поля, к станицам, курганам, опять заживу прежней жизнью, буду ходить в походы, как журавль охранять границы; весной в траве рыскать... Ну, да, поеду, поеду!

Он пришпорил лошадь и помчался вскачь, ибо давно соскучился по быстрой езде, по свисту ветра в ушах... День был ясный, сухой, морозный. Снег подмерз и скрипел под ногами лошади. Снежные комья вылетали из-под ее копыт. Пан Володыевский летел так, что слуга остался далеко позади, так как лошадь у него была хуже.

Солнце садилось; на небе горела вечерняя заря, бросая на снежное пространство фиолетовый отблеск. На алеющем небе загорелись первые мерцающие звезды и взмошел серебряный серп месяца. Дорога была пуста, рыцарь лишь изредка встречал какую-нибудь телегу и пролетал мимо. И только завидев вдали дом Кетлинга, он тотчас задержал лошадь, чтобы дать возможность слуге догнать его.

Вдруг он увидел впереди какую-то стройную фигуру, которая шла к нему навстречу.

Это была Кшися Дрогоевская.

Узнав ее, пан Михал тотчас соскочил с коня, передал его слуге и, слегка удивленный, но еще более обрадованный, побежал к ней навстречу.

– Солдаты говорят, – начал он, – что на заре можно встретиться со сверхъестественными существами, и встреча эта иной раз к добру, иной раз к худу; но для меня лучшей встречи, чем встреча с вами, быть не может.

– Приехал пан Нововойский, – ответила Кшися, – он сидит с Басей и пани Маковецкой, а я беспокоилась, что сказал вам гетман, и нарочно вышла к вам навстречу.

Искренность этих слов тронула маленького рыцаря.

– Неужели вы так обо мне беспокоитесь? – спросил он, подняв на нее глаза.

– Да, – ответила Кшися, понизив голос.

Володыевский не спускал с нее глаз, и никогда еще она не казалась ему такой красивой, как теперь, при этом лунном освещении. На голове у нее был надет атласный капор, белый лебяжий пух его нежно оттенял ее маленькое, бледное личико, залитое лунным светом, ее тонкие брови, ее опущенные глаза, осененные длинными ресницами, и темный, еле заметный пушок над губами. Лицо ее дышало спокойствием и добротой.

Пан Михал почувствовал в эту минуту, что это лицо настоящего друга, которого он любит всей душой.

– Если бы не слуга, который едет за нами, то я от благодарности упал бы к вашим ногам.

– Не говорите таких вещей, ваць-пане, я недостойна их, скажите лучше, что вы останетесь с нами и что я смогу продолжать утешать вас.

– Не остаюсь! – ответил пан Володыевский.

Кшися вдруг остановилась.

– Не может быть!

– Такова уж служба солдата! Я еду на Русь, в Дикие Поля.

– Служба солдата? – повторила Кшися. И вдруг замолчала и быстро пошла к дому. Володыевский слегка смутился и шел следом за нею. На душе у него было тяжело и неприятно; он хотел опять завести разговор, но он не клеился. Между тем ему казалось, что он должен сказать Кшисе тысячи вещей и что сказать это надо именно теперь, пока они одни и пока никто не мешает. «Только бы начать, – подумал он, – а уж дальше само собой пойдет».

И вдруг он совершенно некстати спросил:

– А пан Нововейский давно приехал?

– Нет, недавно, – ответила Дрогоевская.

И разговор опять оборвался.

«Не с того начал, – подумал Володыевский. – Если я так буду начинать, я никогда ничего не скажу. Видно, горе отняло у меня остаток находчивости!»

Некоторое время он шел молча и все быстрее шевелил усиками. Наконец, перед самым домом он остановился и сказал:

– Видите ли, ваць-панна, я столько лет откладывал личное счастье, чтобы служить отчизне, – могу ли я на этот раз не отложить и то утешение, которое вы даете мне?

Володыевскому казалось, что такой простой аргумент должен сразу убедить Кшисю. И минуту спустя она кротко, но с грустью отвечала:

– Чем ближе вас узнаешь, пан Михал, тем больше вас уважаешь! Сказав это, она вошла в дом. Уже в сенях они слышали крики Баси: «Алла, Алла!» Когда они вошли в гостиную, то увидели пана Нововейского, который бегал по комнате с завязанными глазами, с вытянутыми вперед руками; он старался поймать Басю, а она пряталась по углам и криком «Алла» давала знать, где она. У окна пан Заглоба разговаривал с пани Маковецкой.

Появление Кшиси и рыцаря прервало эту забаву. Нововейский сдернул платок и побежал здороваться. Подошли и пан Заглоба, и пани Маковецкая, и запыхавшаяся Бася.

– Ну что там? Что пан гетман сказал? – спросили все в один голос.

– Сестра, – сказал Володыевский, – если хочешь послать письмо мужу, то у тебя будет случай: я еду на Русь.

– Тебя уже посылают? Ради бога, не езд! – жалобно воскликнула пани Маковецкая. – Тебе не дают ни минуты отдыха.

– Ты действительно уже получил назначение? – спросил огорченный Заглоба. – Пани Маковецкая права, говоря, что тобою молотят, как цепом.

– Рушиц едет в Крым, я приму его полк. Пан Нововейский не ошибся, что весной дороги зачереуют.

– Да разве мы одни обязаны охранять Речь Посполитую от разбойников, как цепная собака – дом? – воскликнул Заглоба. – Многие не знают, каким концом стрелять из мушкета, а нам никогда нет отдыха.

– Ну будет! Есть о чем говорить! – отвечал Володыевский. – Служить так служить. Я дал слово гетману, что поеду, а раньше или позже, это решительно все равно...

Тут пан Володыевский приставил палец ко лбу и повторил тот аргумент, который уже сослужил ему службу в разговоре с Кшисей:

– Если я столько лет откладывал мое счастье, чтобы служить Речи Посполитой, могу ли я теперь не отложить того утешения, которое я нахожу в вашем обществе?

На это никто не ответил; одна только Бася надула губки, как капризный ребенок, и сказала:

– Жаль пана Михала! Володыевский весело рассмеялся.

– Да пошлет вам Бог счастья! Но ведь вы еще вчера говорили, что терпеть меня не можете, как какого-нибудь дикого татарина!

– Еще что! Как дикого татарина! Совсем я этого не говорила. Вы там будете татарами тешиться, а нам здесь будет скучно без вас!

– Утешьтесь, гайдучок (простите, что я вас так называю, но это к вам так подходит!). Пан гетман сказал, что я еду ненадолго. Через неделю или через две я вернусь, чтобы к выборам быть в Варшаве. Если гетману так угодно, то так и будет, если бы даже Рушиц не возвратился еще из Крыма.

– Ну вот и превосходно!

– И я поеду с паном полковником, непременно поеду, – сказал Нововейский, пристально глядя на Басю.

– Таких, как вы, будет немало! Приятно служить под таким начальством. Поезжайте! Поезжайте! Пану Михалу будет веселее, – сказала Бася.

Юноша только вздохнул и провел широкой ладонью по волосам, потом, Расставив руки, чтобы ловить Басю, воскликнул:

– Но сначала поймаю панну Барбару! Ей-богу, поймаю!

– Алла! Алла! – воскликнула Бася, пятясь назад.

Между тем Дрогоевская подошла к Володыевскому с прояснившимся лицом и сказала:

– Нехороший, нехороший вы, пан Михал: с Басей вы добрее, чем со мной.

– Я недобр с вами? Я добрее с Басей? – спросил с удивлением рыцарь.

– Басе вы сказали, что вернетесь к выборам, а ведь, если бы я это знала, я не приняла бы к сердцу ваш отъезд.

– Мое золото! – воскликнул пан Михал.

Но он тотчас же спохватился и сказал:

– Мой дорогой друг! Я уж сам не понимаю, что говорю, потому что потерял голову!



## IX

Пан Михал начал понемногу готовиться к отъезду, не переставая давать уроки Басе, которую он любил все больше и больше, и продолжая гулять наедине с Кшисей Дрогоевской и искать у нее утешения. Казалось, что он находит его: настроение его с каждым днем улучшалось, а по вечерам он иной раз принимал участие в играх Баси и Нововейского.

Молодой кавалер стал желанным гостем в доме Кетлинга. Он приезжал с утра или тотчас после полудня и оставался до вечера, а так как все его очень любили, то вскоре все стали смотреть на него как на члена семьи. Он провожал дам в Варшаву, исполнял их поручения в галантерейных лавках, по вечерам с увлечением играл в жмурки, все повторяя, что он непременно должен перед отъездом поймать неуловимую Басю.

Но она всегда ускользала от него, хотя Заглоба и говорил ей:

– Поймает тебя, наконец, не этот, так другой!

Но становилось все очевиднее, что именно этот и хотел поймать ее. Должно быть, и гайдучку это приходило в голову; по временам он так задумывался, что волосы совсем закрывали его глаза. Пану Заглобе это было не на руку, – у него на то были свои основания. Как-то вечером, когда все уже разошлось, он постучался в комнату маленького рыцаря.

– Мне так грустно, что приходится расставаться, – сказал он. – Я пришел сюда, чтобы еще немного поглядеть на тебя. Бог знает, когда мы увидимся!

– К выборам я непременно приеду, – ответил, обнимая его, пан Михал, – и скажу вам почему: гетман хочет, чтобы во время выборов здесь было как можно больше людей, которых любит шляхта, чтобы они старались вербовать побольше сторонников его кандидатуры. А так как, благодарение Богу, мое имя пользуется доброй славой у братьев-шляхты, то, вероятно, он меня и вернет. Он рассчитывает и на вас.

– Ну, хочет поймать меня большим неводом, но мне кажется, что хотя я и толст, а выскользну в какую-нибудь петлю этой сети. Не буду я голосовать за француза.

– Почему?

– Потому что это приведет к неограниченности королевской власти.

– Но ведь Конде<sup>12</sup> присягнет конституции, как присягали и другие. Полководец же он великий, прославившийся военными подвигами.

– Слава богу, нам не нужно искать полководцев во Франции. И сам пан Собеский, конечно, не хуже Конде. Заметь, Михал, французы так же, как и шведы, ходят в чулках, а потому, вероятно, как и шведы, они не сдерживают клятв. Carolus Gustavus готов был присягать каждую минуту. Для них это все равно что орех раскусить. Что толку в присяге, когда совести нет.

– Но ведь Речь Посполитая нуждается в защите. Эх, если бы был жив князь Еремия Вишневецкий! Мы избрали бы его королем единогласно!

– Жив его сын. Та же кровь!

– Та, да не та! Жаль смотреть на него, он скорее на слугу похож, чем на князя такой знатной крови. Если бы еще были другие времена. Теперь главная забота – благо отчизны. То же самое скажет тебе и Скшетуский. Я сделаю то, что сделает гетман, ибо я верю, как в Евангелие, в его искреннюю любовь к отчизне.

– Да, пора об этом подумать! Жаль, что ты теперь уезжаешь!

– А что вы будете делать?

---

<sup>12</sup> Принц Людвиг Бурбон Конде (1621–1686) – один из знаменитейших полководцев. К 1660–1669 годам относится его кандидатура на польский престол. Противниками этой кандидатуры была выдвинута кандидатура герцога лотарингского и герцога нейбургского. – *Примеч. перев.*

– Я вернусь к Скшетуским. Мальчуганы там иной раз мне надоедают, но, когда я их долго не вижу, мне скучно без них.

– Если после выборов будет война, то и Скшетуский пойдет. Да кто знает, может быть, и вы еще пойдете в поход. Может быть, будем вместе на Руси воевать. Столько испытали мы там и хорошего, и дурного...

– Правда! Ей-богу, правда! Там прошли наши лучшие годы. И как иной раз хочется взглянуть на все те места, которые были свидетелями нашей славы.

– Так поедемте со мной теперь! Нам будет весело, и через пять месяцев мы вернемся опять к Кетлингу. Тогда будет и он, и Скшетуские...

– Нет, Михал, теперь мне нельзя, но зато обещаю тебе, что если ты женишься на какой-нибудь панне с Руси, то я тебя туда провожу и буду вас там водворять.

Володыевский смутился немного, но сейчас же ответил:

– Куда мне думать о женитьбе! Лучшее доказательство то, что я отправляюсь на службу.

– Вот это и огорчает меня; я все думал: не одна, так другая. Михал, побойся Бога, подумай, где и когда найдешь более подходящий случай, чем теперь? Помни, что придет время, когда ты скажешь сам себе: у всякого есть жена, дети, а я одинок как перст! И охватит тебя грусть и тоска ужасная! Если бы ты женился на той бедняжке, если бы она оставила тебе детей, – ну, тогда я оставил бы тебя в покое; но ведь так может наступить время, когда ты напрасно будешь искать вокруг близкого человека и сам себя спросишь: «Не на чужбине ли я живу?»

Володыевский молчал и раздумывал, а пан Заглоба продолжал, пристально глядя в глаза маленькому рыцарю:

– В душе и в мыслях я назначил тебе того розовенького гайдучка, ибо, во-первых, это золото, а не девка, а во-вторых, таких завятых воинов, каких бы вы произвели на свет, до сих пор еще, верно, не бывало на земле.

– Это ветер. Впрочем, там Нововейский уже расставил сети!

– Вот, вот! Сегодня она еще непременно предпочтет тебя, ибо влюблена в твою славу. Но когда ты уедешь, а он останется (а я знаю, что он останется, шельма, потому что это ведь не война), – что будет тогда – кто знает?

– Баська – ветер! Пусть ее Нововейский берет. Я искренне ему этого желаю, он прекрасный малый.

– Михал, – сказал Заглоба, заламывая руки, – подумай, что это за потомство будет!

На это маленький рыцарь наивно ответил:

– Я знал двух Балей, сыновей урожденной Дрогоевской, и это были тоже превосходные солдаты!

– А, попался! Вот куда ты метишь! – воскликнул Заглоба.

Володыевский страшно смутился. С минуту он только поводил усиками, думая этим скрыть свое смущение, наконец сказал:

– Что вы говорите! Никуда я не мечу, но раз вы заговорили о воинственном духе Баси, то мне сейчас же пришла в голову Кшися, в которой гораздо более женственности. Когда говорят про одну, невольно приходит в голову другая – они ведь всегда вместе.

– Ладно, ладно! Благослови тебя Господь с Кшисей, хотя, Богом клянусь, будь я мужчина, непременно бы по уши влюбился в Басю. Такую жену нет надобности и во время войны оставлять дома: можно ее взять с собой и держать при себе. Такая и в палатке пригодится, а случись с нею что-нибудь даже во время битвы, она хоть одной рукой из ружья стрелять будет... А какая честная и добрая! Эх, гайдучок мой миленький! Не оценили тебя здесь, неблагодарностью отплатили! Но будь мне лет на пятьдесят меньше, уж я бы знал, кому надо быть пани Заглобой.

– Я не умаляю достоинств Баси!

– Не в том дело, умаляешь ли ты ее достоинства, а в том, что ты не желаешь прибавить ей еще мужа. Ты предпочитаешь Кшисю!

– Кшися – мой друг!

– Друг, а не подруга? Уж не потому ли, что у нее усики? Твои друзья: я, Скшетуский и Кетлинг! Тебе не друг, а подруга нужна. Пойми это раз и навсегда. Остерегайся, Михал, друга из женского полку, хоть и с усиками, – не то либо ты ему изменишь, либо он тебе изменит! Дьявол не спит и всегда рад такой дружбе. Пример: Адам и Ева; так они подружились, что Адаму эта дружба костью поперек горла стала.

– Вы Кшисю не оскорбляйте, – я этого ни за что не допущу!

– Пусть Бог ей поможет в ее добродетели! Нет лучше моего гайдучка, но и она девушка хорошая. Я не оскорбляю ее нисколько, но только скажу тебе, что когда ты сидишь около нее, то щеки у тебя горят, точно их тебе нащипали, и усами шевелишь, и волосы у тебя привстают, и сопишь ты, и топчешься на одном месте, как конь-гривач, а все это признаки страстей! Ты другому о дружбе рассказывай, а не мне, я ведь старый воробей!

– Такой старый, что видите даже то, чего нет.

– Дай Бог, чтобы я ошибался! Дай Бог, чтобы тут дело касалось моего гайдучка! Спокойной ночи, Михал, спокойной ночи! Бери гайдучка! Гайдучок еще красивее! Бери гайдучка, бери гайдучка!..

Сказав это, пан Заглоба встал и вышел из комнаты.

Пан Михал ворочался всю ночь и не мог спать, – тревожные мысли не давали ему покоя. Перед его глазами вставало лицо Дрогоевской, ее очи с длинными ресницами и ее губы, покрытые легким пушком. Порой он начинал дремать, но видения все продолжались. Просыпаясь, он думал о словах Заглобы и вспоминал, как редко этот человек в чем-нибудь ошибался. Иной раз перед ним мелькало не то во сне, не то наяву розовенькое личико Баси, и ее вид успокаивал его; но снова Басю сменяла Кшися. Повернется бедный рыцарь к стене и видит ее очи, а в них какую-то манящую томность. По временам эти очи закрывались и будто говорили: «Да будет воля твоя!» Пан Михал даже садился на постели и крестился. Под утро сон совсем бежал прочь. Зато ему стало тяжело и неприятно. Было стыдно, что он видел перед собой не ту – покойную, что душа его была полна не ею, а другой, живой. И он горько упрекал себя за это. Ему казалось, что он согрешил, изменил памяти Ануси, и, поворочавшись еще немного, он спрыгнул с постели и, хотя было еще темно, стал читать утренние молитвы. А когда кончил, схватился за голову и сказал:

– Надо скорее ехать и удержаться от этой дружбы: пан Заглоба, может быть, прав.

Потом, уже более веселый и спокойный, он пошел завтракать. После завтрака он фехтовал с Басей и тут он в первый раз заметил, как удивительно была она красива – с раздувающимися ноздрями и волнуемой от быстрых движений грудью – трудно было глаза оторвать. Казалось, он избегал Кшиси, которая, заметив это, смотрела на него удивленными, широко раскрытыми глазами. Он избегал даже ее взгляда. И хотя сердце у него разрывалось на части, но он выдержал.

После обеда он пошел с Басей в кладовую, где у Кетлинга был другой склад оружия. Он показывал ей военные принадлежности, объяснял их назначение. Потом они стреляли в цель из астраханских луков.

Девушка была очень счастлива и так расшалилась, что пани Маковецкой пришлось ее останавливать.

Так прошло два дня. На третий день оба они с Заглобой поехали в Варшаву, в Даниловичевский дворец, чтобы узнать о времени отъезда; вечером пан Михал объявил дамам, что через неделю он уезжает.

Он старался сказать это беззаботным и веселым тоном. На Кшисю он не взглянул ни разу.

Встревоженная девушка несколько раз обращалась к нему с вопросами; он отвечал вежливо, дружелюбно, но больше занимался Басей.

Заглоба, думая, что все это следствие его советов, потирал руки от удовольствия. А так как ничто не могло укрыться от его глаз, то он заметил грусть Кшиси.

– Огорчилась! Вижу, что огорчилась! – думал он. – Ну, ничего! Такова уж женская натура. Но Михал повернул с места и скорее, чем я думал. Молодец парень! Но что касается чувства, он ветер – был, есть и будет!

У пана Заглобы сердце было доброе, а потому ему стало жаль Кшисю.

– Прямо я ей ничего не скажу, но надо чем-нибудь ее утешить.

Пользуясь правами, которые ему давали его годы и седина, он подошел к ней после ужина и начал ее гладить по ее шелковистым, черным волосам. Она сидела молча и глядела на него, подняв свои кроткие глаза, слегка удивленная этой нежностью, но благодарная.

Вечером у дверей комнаты, где спал Володыевский, Заглоба толкнул маленького рыцаря в бок.

– А что? – сказал он. – Нет лучше моего гайдучка?

– Милая козочка! – ответил Володыевский. – Она одна за четырех солдат в комнате шуму наделает. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! Удивительные существа эти женщины! Вот ты немножко около Баси увивался, а Кшися уже и загрузила, ты заметил?

– Нет... не заметил, – возразил маленький рыцарь.

– Она точно подкошенная...

– Спокойной ночи! – повторил Володыевский и поспешно вошел в свою комнату.

Пан Заглоба все же ошибся, рассчитывая на ветреность Володыевского, и поступил опрометчиво, заговорив об огорчении Кшиси. Пана Михала это так тронуло, что у него даже что-то сдавило горло.

«Вот как я отплатил ей за ее доброе отношение ко мне, за то, что она как сестра утешала меня в печали! – сказал он про себя. – Но что же я ей сделал дурного? – подумал он после минутного раздумья. – Что я сделал? Не обращал на нее внимания в течение трех дней? И это было даже неучтиво с моей стороны. Не обращал внимания на эту кроткую, милую девушку. За то, что она хотела залечить мои раны, я ей отплатил неблагодарностью. Если бы я мог, не преступая границ, умерять эту небезопасную дружбу и не обижать ее; но, видно, для такого обхождения у меня не хватает ума».

Пан Михал был зол на себя, и вместе с тем в его сердце проснулась жалость к Кшисе. Он невольно думал о ней, как об обиженном и любимом существе. И недовольство собой возрастало в нем с каждой минутой.

– Я варвар, варвар! – повторял он. Кшися совершенно вытеснила Басю из его головы. – Пусть кто хочет берет эту козу, эту мельницу, эту трещотку! – говорил он. – Нововейский ли, дьявол ли, мне все равно!

И его охватил гнев на ни в чем не повинную Басю, и ему даже в голову не пришло, что этим гневом он обижает ее больше, чем Кшисю своим притворным равнодушием.

Кшися между тем женским чутьем тотчас же догадалась, что в Володыевском происходит какая-то перемена. Ей было и неприятно, и грустно, что маленький рыцарь, видимо, избегает ее, но в то же время она понимала и то, что их отношения должны измениться, – что они либо сблизятся еще больше, либо разойдутся.

Ею овладело беспокойство, которое усиливалось при мысли о скором отъезде Володыевского. В сердце Кшиси любви еще не было. Она еще не сознавала ее. Зато в сердце ее была потребность любить.

Быть может, она уже была несколько увлечена: Володыевского окружала слава первого рыцаря Речи Посполитой. Все с уважением произносили его имя. Сестра до небес превозно-

сила его благородство; постигшее его несчастье придавало ему особенное обаяние, и, наконец, живя с ним под одной крышей, девушка привыкла к нему.

Кшися любила, чтобы ею увлекались. Когда пан Михал за последние дни стал относиться к ней равнодушно, это задело ее самолюбие. Но, добрая от природы, Кшися решила не выказывать ему своего неудовольствия и нетерпения, а обезоружить его добротой.

И сделать это ей было тем легче, что на следующий день у пана Михала было опечаленное лицо, он не только не избегал взгляда Кшиси, но смотрел ей в глаза и как будто хотел сказать: «Вчера я не обращал на тебя внимания, а сегодня прошу у тебя прощения».

И он глазами говорил ей так много, что под влиянием этих взглядов лицо девушки краснело, а предчувствие, что скоро должно совершиться что-то важное, еще усиливало ее тревогу. Так и случилось. После полудня пани Маковецкая поехала с Басей к ее родственнице, жене Львовского подкомория, которая гостила в Варшаве; Кшися осталась дома, сославшись на головную боль: ее разбирало любопытство поскорее узнать, о чем они будут говорить с паном Михалом, когда останутся наедине.

Пан Заглоба тоже не поехал, но он обыкновенно спал после обеда. Он говорил, что это спасает его от ожирения и дает ему по вечерам хорошее настроение. И потому, поболтав с часок, он ушел в свою комнату. Сердце Кшиси билось все тревожнее. Но какое разочарование ожидало ее! Пан Михал вскочил и ушел вместе с Заглобой.

«Он сейчас же вернется!» – подумала Кшися. И, взяв обруч, она стала золотом вышивать шапку, которую хотела подарить пану Михалу на дорогу.

Глаза ее ежеминутно следили за стрелкой данцигских часов, которые стояли в углу гостиной и строго тикали.

Прошел час, другой, а Володыевского все не было.

Девушка положила обруч на колени и, сложив руки, сказала про себя:

– Он не решается, а пока решится, могут приехать наши, или же проснется пан Заглоба, и мы ничего друг другу не скажем.

Ей казалось в эту минуту, что они должны переговорить о чем-то очень важном и что из-за медлительности пана Володыевского это им не удастся. Наконец, в соседней комнате послышались его шаги.

– Ходит взад и вперед, – подумала Кшися и стала вышивать еще усерднее. Володыевский, действительно, ходил взад и вперед по комнате и не решался войти. Между тем красный диск солнца постепенно склонялся к западу.

– Пан Михал! – позвала вдруг Кшися. Он вошел и застал ее за работой.

– Вы меня звали?

– Я хотела знать, кто это там ходит... Я сижу здесь одна более двух часов... Володыевский подвинул стул и сел на самый краешек.

Прошла минута молчания. Володыевский шаркал ногами, засовывая их под стул, и быстро шевелил усиками. Кшися перестала шить и взглянула на него, взгляды их встретились, и оба они опустили глаза.

Когда Володыевский снова поднял их и взглянул на Кшисю, на лицо ее падали последние лучи заходящего солнца, и она была прекрасна, как никогда. Волосы ее были окружены золотистым ободком...

– Через несколько дней вы уезжаете? – спросила она так тихо, что пан Михал едва мог расслышать.

– Иначе быть не может!

И снова наступила минута молчания, потом Кшися сказала:

– Я думала в последнее время, что вы сердитесь на меня...

– Если бы действительно так было, – воскликнул Володыевский, – я был бы недостоин взглянуть вам в глаза, но не было этого!

– А что же было? – спросила Кшися, снова поднимая на него глаза.

– Я предпочитаю говорить искренне – я думаю, что искренность всегда лучше притворства... Но... я даже сказать не сумею, каким утешением были вы для меня и как я вам благодарен за это...

– Дай Бог, чтобы всегда так было! – ответила Кшися, складывая руки на обруч с работой.

Пан Михал ответил ей с грустью:

– Дал бы Бог! Дал бы Бог! Но мне сказал пан Заглоба (это я вам как на исповеди говорю), что дружба с женщиной вещь опасная, ибо под нею, как огонь под пеплом, может скрываться более горячее чувство. Я подумал, что пан Заглоба может оказаться прав... Простите солдату его простоту... Другой сказал бы все это лучше, а я... сердце у меня обливается кровью, что я так относился к вам за последние дни... Мне просто жизнь не мила...

Сказав это, пан Михал так быстро зашевелил усиками, как не зашевелит ни один жук.

Кшися опустила голову, и минуту спустя две слезы скатились по ее щекам.

– Если вам от этого будет легче, если мое братское чувство вам не нужно, то я постараюсь скрыть его...

И снова слезы покатились по ее щекам. При виде их сердце пана Михала сжалось; он бросился к Кшисе и схватил ее руки. Обруч скатился с ее колен и очутился посередине комнаты, но рыцарь ничего уже не видел и только прижимал к губам ее теплые, мягкие, как атлас, руки и все повторял:

– Не плачьте, ваць-панна! Бога ради не плачьте!

Он не переставал целовать ее рук даже и тогда, когда Кшися в смущении закинула их на голову, – и целовал их все горячее, ибо его как вино опьянил запах ее волос...

И он сам не знал, как и когда его губы коснулись ее лба, потом заплаканных глаз... Все завертелось перед ним. Потом он почувствовал пушок над ее верхней губой, и уста их слились в долгом, горячем поцелуе. В комнате стало тихо и слышалось только мерное тиканье маятника.

Вдруг в сенях раздался топот Баси и послышался ее детский голосок:

– Мороз, мороз, мороз!

Володыевский отскочил от Кшиси, как спугнутая рысь отскакивает от своей жертвы. В ту же минуту в комнату с шумом влетела Бася, все повторяя:

– Мороз, мороз, мороз!

Вдруг она споткнулась об обруч, который валялся на полу, среди комнаты. Она остановилась и, с удивлением поглядывая то на обруч, то на Кшисю, то на маленького рыцаря, сказала:

– Что это? Вы обручем как мячиком перебрасывались?

– А где тетушка? – спросила Дрогоевская, стараясь говорить как можно более естественным и спокойным голосом.

– Тетушка вылезает из саней, – ответила Бася тоже изменившимся голосом.

И ее подвижные ноздри зашевелились. Она еще раз взглянула на Кшисю, потом на пана Володыевского, который в эту минуту поднимал с пола обруч, и вдруг молча вышла из комнаты.

В эту минуту в комнату вкатилась пани Маковецкая, а сверху спустился пан Заглоба, и завязался разговор о жене львовского подкомория.

– Я не знала, что она крестная мать пана Нововейского, – сказала пани Маковецкая. – Он, должно быть, рассказал ей что-нибудь про Басю, потому что она все ее поддразнивала Нововейским.

– А что же Бася? – спросил Заглоба.

– Ну, что Бася – ничего! Она ей так ответила: «У него нет усов, а у меня ума, и еще неизвестно, кто раньше дождется своего».

– Я знал, что она за словом в карман не полезет. Но кто знает, что у нее на уме? Женская хитрость!

– У Баси что на уме, то и на языке. Я уже вам говорила, что она еще воли Божьей не чувствует, Кшися – другое дело!

– Тетя! – вдруг перебила ее Дрогоевская.

Дальнейший разговор был прерван слугой, который доложил, что ужин подан. Все отправились в столовую. Недоставало только Баси.

– Где панна? – спросила пани Маковецкая, обращаясь к слуге.

– Панна на конюшне. Я говорил панне, что ужин готов, – она ответила: «Хорошо» – и пошла на конюшню.

– Неужели она чем-нибудь огорчилась? Все время она была так весела, – заметила пани Маковецкая, обращаясь к Заглобе.

Тут маленький рыцарь, совесть которого была не чиста, сказал:

– Я побегу за нею!

И он побежал. Он, действительно, нашел ее за дверью конюшни, сидевшей на охапке сена. Она так задумалась, что и не заметила, как он вошел.

– Панна Барбара! – сказал маленький рыцарь, наклоняясь к ней.

Бася вздрогнула, как будто проснувшись от сна, подняла на него свои глаза, и Володыевский, к своему удивлению, заметил в них две крупных, как жемчуг, слезы.

– Ради бога, что с вами? Вы плачете?

– И не думала даже! – воскликнула Бася, вскакивая. – И не думала: это от мороза!

И она рассмеялась весело, но смех ее был искусственный. Потом, чтобы отвлечь от себя его внимание, она указала на стойло, в котором стоял жеребец, подаренный Володыевскому гетманом, и живо сказала:

– Вы говорили, что к этой лошади нельзя подходить?.. Посмотрим!

И прежде чем пан Михал успел удержать ее, она вскочила в стойло. Дикий конь сразу стал приседать на задние ноги, бить копытами землю и насторожил уши.

– Ради бога, ведь он может убить вас! – крикнул Володыевский, бросаясь за нею.

Но Бася хлопала жеребца по спине и повторяла:

– Пусть убьет! Пусть убьет! Пусть убьет!

Конь повернул к ней дымящиеся ноздри и тихо ржал, как будто радуясь ее ласкам.

## Х

Все прежние бессонные ночи Володыевского были ничто в сравнении с той, которую он провел после объяснения с Кшисей. Он изменил памяти своей дорогой покойницы, которую так чтит; он обманул доверие к нему другой, злоупотребил дружбой, связал себя каким-то обязательством и поступил как человек без совести. Другой солдат на его месте не придал бы никакого значения этим поцелуям и, самое большее, при воспоминании о них покручивал бы усы; но пан Володыевский, особенно после смерти Ануси, относился ко всему строго, как человек, у которого наболела душа. Что ему теперь делать? Как поступить?

До его отъезда оставалось всего несколько дней, а с этим отъездом все ведь могло кончиться само собой. Но можно ли было уехать, не сказав ни слова Кшисе, бросить ее так, как бросают сенную девушку, у которой крадут случайный поцелуй? При этой мысли содрогалось благородное сердце рыцаря. Даже теперь, когда он боролся с собою, мысль о Кшисе наполняла его блаженством, а воспоминание об этом поцелуе заставляло его вздрагивать от наслаждения. Он приходил от этого в бешенство, а все же не мог побороть этого чувства блаженства и наслаждения. Впрочем, во всем он винил только себя.

– Я сам довел Кшисю до этого, – повторял он с горечью, – сам довел, и мне нельзя уезжать, не объяснившись с нею.

– Ну, и что же? Сделать предложение и уехать женихом Кшиси?

Тут перед ним вставала вся белая, точно восковая, вся в белом, Ануся Божобогатая, такая, какой он ее видел в гробу.

– Мне лишь одно осталось, – говорила она, – чтобы ты тосковал обо мне... Ты сначала хотел сделаться монахом, всю жизнь меня оплакивать, а теперь ты берешь другую, прежде чем душа моя успела долететь до врат небесных. Ах, подожди! Пусть я сначала достигну небесной обители и перестану смотреть на землю...

И казалось рыцарю, что он клятвопреступник по отношению к той чистой душе, память о которой он должен был чтить и сохранять, как святыню. Ему было и больно, и стыдно – он презирал самого себя... Он жаждал смерти.

– Ануся, – повторял он, стоя на коленях, – я до самой смерти не перестану оплакивать тебя. Но что же мне теперь делать?

Беленькая фигурка ничего не отвечала и рассеивалась как легкий туман; и вместо нее в воображении рыцаря вставала Кшиса, ее губы с легким пушком, а вместе с ними искушения, от которых бедный солдат старался отряхнуться, как от татарских стрел.

Так колебалось сердце рыцаря в нерешимости, горе и муке. Минутами ему приходило в голову пойти к Заглобе, рассказать ему все и посоветоваться с этим человеком, ум которого всегда мог справляться со всеми затруднениями. Ведь он все предвидел, все предсказал: вот что значит дружба с женщинами!

Но именно это и останавливало маленького рыцаря. Он вспомнил, как он резко крикнул на пана Заглобу: «Вы Кшисю не оскорбляйте!» И кто же, кто теперь оскорбил Кшисю? Кто сейчас думал, не лучше ли уехать и бросить ее, как бросают сенную девушку?

– Если бы не та, бедняжка, я бы и минуты не раздумывал, – сказал про себя маленький рыцарь. – Не огорчаться, а радоваться тогда мне следовало бы, что я отведал такого лакомства.

Через минуту он пробормотал:

– Я отведал бы его охотно и еще сто раз.

Но видя, что им снова овладевают искушения, он пытался отряхнуться от них и рассуждал так:

– Свершилось! Раз я поступил уже, как человек, который ищет не дружбы, а любви, то надо идти по той же дороге и завтра же сказать Кшисе, что я хочу на ней жениться.



Тут он остановился на минуту и продолжал думать:

– Предложением этим я добьюсь того, что и сегодняшний поступок не будет казаться бесчестным, и завтра я могу опять себе позволить...

Тут он ударил себя рукой по губам.

«Тьфу, – сказал он, – должно быть, в меня целый чамбул чертей вселился!»

Но он уже не оставлял мысли о предложении, полагая, что если он оскорбит этим память покойницы, то может вымолить у нее прощение заупокойными обеднями и набожностью, и этим докажет ей, что он не перестал о ней думать.

Впрочем, если люди будут смеяться над тем, что несколько недель тому назад он с горя хотел поступить в монахи, а теперь признался в любви другой, то стыдно будет только ему одному, в противном же случае стыд этот должна будет делить вместе с ним и ни в чем не повинная Кшися.

«Итак, завтра сделаю предложение: иначе нельзя!» – сказал он. И он значительно успокоился, прочитал вечерние молитвы и, горячо помолившись за упокой Анусиной души, заснул.

Проснувшись на другой день, он повторил:

– Сегодня я сделаю предложение...

Но это было не так легко, так как пан Михал не хотел никому говорить об этом, а сначала поговорить с Кшисей и тогда поступить как надо. Между тем с утра приехал пан Нововейский, с которым он сталкивался на каждом шагу.

Кшися весь день ходила как отравленная; она была бледна, измучена и ежеминутно опускала глаза; порой она краснела так, что румянцем покрывалась даже шея; порою губы у нее дрожали, как будто она собиралась заплакать; то она была словно больная и сонная.

Трудно было рыцарю подойти к ней, а особенно остаться с ней наедине. Правда, он мог предложить ей погулять по саду – погода была чудесная, и раньше он сделал бы это, несколько не стесняясь, но теперь он не решался: ему казалось, что все сразу догадаются, в чем дело, и поймут, что он хочет сделать предложение.

К счастью, его выручил Нововейский. Он отвел в сторону жену стольника, говорил с нею довольно долго; потом они оба вернулись в комнату, где сидел маленький рыцарь с двумя девушками и с паном Заглобой, и пани Маковецкая сказала:

– Вы бы проехали в две пары на санях, молодежь! Снег так и искрится! Володыевский быстро наклонился к Кшисе и шепнул:

– Умоляю вас, садитесь со мной! Мне надо вам многое сказать!

– Хорошо, – ответила Дрогевская.

Потом оба они с Нововейским бросились на конюшню, за ними побежала и Бася, и через несколько минут двое саней подъехали к крыльцу. Володыевский с Кшисей сели в одни сани, Нововейский с гайдучком в другие, и лошади тронулись.

Пани Маковецкая обратилась к Заглобе и сказала:

– Пан Нововейский сделал предложение Басе.

– Как так? – спросил с беспокойством Заглоба.

– Жена пана подкомория львовского, его крестная мать, приедет завтра переговорить со мной, а пан Нововейский просил у меня разрешения сделать намек об этом Басе; он сам понимает, что если Бася к нему не расположена, то нечего и пытаться.

– И потому-то вы отправили их кататься на санях?

– Да. Мой муж человек очень щепетильный. Он не раз говорил мне: «Я опекун над их именами, но мужа пусть каждая из них сама себе выбирает; лишь бы был честный человек, и я не буду противиться, если он даже будет беден. Впрочем, они обе с Кшисей не маленькие и могут распоряжаться собой».

– А вы что намерены ответить жене подкомория?

– Мой муж приедет в мае, я все это передам ему. Но думаю, что все будет так, как Бася захочет.

– Нововейский еще мальчик.

– Но сам Михал говорил, что он известный воин, уже прославившийся военными подвигами. У него хорошее состояние, а жена подкомория перечислила все его родственные связи. Видите ли, это было так: его прадед, родившийся от княжны Сенюты, *primo voto*<sup>13</sup> был женат...

– А мне какое дело до его родни?! – перебил Заглоба, не скрывая своего Дурного настроения. – Он мне ни брат, ни сват, а я скажу вам, что гайдучка я предназначал Михалу, ибо если между девушками, которые ходят по свету на двух ногах, найдется хоть одна честнее и лучше ее, то пусть я с этой минуты буду ходить на четвереньках, как медведь...

– Михал еще ни о чем не думает, а если бы и думал, то ему Кшися понравилась больше Баси... Все это решит Бог! Его пути неисповедимы.

– Но если бы этот молокосос уехал с носом, я бы напился пьян от радости! – сказал Заглоба.

Между тем в санях решалась судьба рыцарей. Пан Володыевский долго не мог собраться с духом начать разговор; наконец, он так сказал Кшисе:

– Не думайте, ваць-панна, что я человек легкомысленный, или какой-нибудь ветреник, – и годы мои уже не такие.

Кшися ничего не ответила.

– Вы простите, ваць-панна, за то, что я сделал вчера – это случилось от особенного к вам расположения, которого сдержать я не сумел. Кшися моя, дорогая моя Кшися, вспомни, что я простой солдат, который всю жизнь провел на войне... Другой бы сказал сначала красивую речь, а потом уже сделал бы признание, а я начал с признания... Вспомни, что если иной раз и хорошо обьеженная лошадь, закусив удила, понесет человека, – как же может не увлечь человека любовь, которую еще труднее обуздать? Так увлекла она и меня... Моя дорогая Кшися, ты достойна каштелянов и сенаторов, но если ты не погнушаешься солдатом, который хоть и в малом чине, йо не без славы служил отчизне, то я падаю к твоим ногам, целую их и спрашиваю: хочешь ли выйти за меня? Можешь ли ты думать обо мне без отвращения?

– Пан Михал! – ответила Кшися.

И ее рука, выскользнув из рукава, исчезла в руке рыцаря.

– Ты согласна? – спросил Володыевский.

– Да, – ответила Кшися, – и знаю, что во всей Польше я не могла бы найти человека благороднее вас.

– Да наградит тебя Бог! Да наградит тебя Бог, Кшися! – говорил рыцарь, покрывая поцелуями ее руку. – Большого счастья мне бы не найти. Скажи мне только, что ты не сердишься за вчерашнее, чтобы совесть меня не мучила...

Кшися закрыла глаза.

– Я не сержусь! – сказала она.

– Эх, жаль, что в санях я не могу целовать твои ноги! – воскликнул Володыевский.

Некоторое время они ехали молча, и только полозья скрипели по снегу, да из-под конских копыт градом летели снежные комья. Володыевский заговорил снова:

– Мне даже странно, что ты меня полюбила.

– Еще удивительнее, что вы меня так скоро полюбили...

– Кшися, может быть, и ты меня осуждаешь, что, еще не оправившись от недавнего горя, я уже полюбил другую? Признаюсь тебе, как на исповеди, что в прежнее время я был легкомысленным. Но теперь нет! Я не забыл ту бедняжку, и не забуду ее никогда; я люблю ее до сих пор, и если бы ты знала, сколько скорби по ней у меня в душе, ты сама бы плакала надо мной...

---

<sup>13</sup> В первом браке (*лат.*).

Волнение помешало маленькому рыцарю говорить, и поэтому, быть может, он и не заметил, что слова его не произвели особенного впечатления на Кшисю.

И опять наступило молчание, но на этот раз его прервала Кшися:

– Я буду стараться утешать вас, насколько сил хватит.

– Вот поэтому я и полюбил тебя так скоро, – ты с первого же дня стала залечивать мои раны. Чем я был для тебя? Ничем. А ты сейчас же пожалела меня, ибо много в тебе сострадания к чужому горю. Ах, как я благодарен тебе! Кто всего этого не знает, тот, быть может, будет осуждать меня, что в ноябре я хотел поступить в монахи, а в декабре собираюсь жениться. Пан Заглоба первый будет подшучивать надо мной, он любит при случае посмеяться, но пусть смеется на здоровье! Мне все равно, тем более что не тебя будут осуждать, а меня. Кшися подняла глаза к небу, подумала, а потом спросила:

– Разве мы непременно должны объявлять людям о нашем союзе?

– Как же иначе?

– Ведь вы через два дня уезжаете...

– Хоть и не рад, а должен!

– Я тоже ношу траур по отцу. Зачем посвящать в это других? Пусть договор останется между нами, – люди ничего о нем не будут знать до вашего возвращения.

– Значит, и сестре не говорить?

– Я сама ей скажу об этом, когда вы уедете.

– А пану Заглобе?

– Пан Заглоба станет на мне изощрять остроумие. Лучше ничего не говорить. Бася также стала бы ко мне приставать, а она последнее время какая-то странная, и настроение у нее такое изменчивое, как никогда. Нет, лучше не говорить!

Тут Кшися снова подняла кверху свои темно-синие глаза.

– Бог нам свидетель, а люди пусть ничего не знают.

– Я вижу, что ваш ум равняется вашей красоте. Согласен! Бог нам свидетель. Аминь! Обопрись на меня плечиком, ибо раз договор заключен, то это уже не противно скромности. Не бойся! Хотя бы мне и хотелось повторить вчерашнее, я не могу, – должен править лошадьми!

Кшися исполнила желание маленького рыцаря, а он сказал:

– Когда мы будем одни, называй меня по имени.

– Мне как-то неловко, – ответила она с улыбкой, – я никогда не решусь.

– А вот я же решился.

– Потому что вы рыцарь, пан Михал, вы храбрый, вы солдат...

– Кшися, любимая ты моя!

– Мих...

Но Кшися не решилась закончить и закрыла лицо рукавом. Спустя некоторое время пан Михал повернул домой. Они почти все время ехали молча, и только у ворот маленький рыцарь спросил:

– А после вчерашнего... помнишь?... тебе было очень грустно?

– Мне и стыдно было, и грустно, и... как-то странно, – прибавила она тише.

И оба приняли равнодушный вид, чтобы никто не мог догадаться, что между ними произошло.

Но эта осторожность оказалась излишней: на них никто не обращал внимания.

Правда, пан Заглоба и пани Маковецкая выбежали в сени навстречу обоим парам, но все их внимание было обращено на Басю и Нововейского.

Бася вся раскраснелась, но неизвестно, от мороза ли, или от волнения, а Нововейский был как отравленный; тут же в сенях он стал прощаться с Маковецкой. Напрасно она удерживала его, напрасно и Володыевский, который был в прекрасном настроении, уговаривал его остаться ужинать, он отговорился службой и уехал.

Тогда пани Маковецкая молча поцеловала Басю в лоб, а та тотчас же побежала в свою комнату и не вышла к ужину.

Только на другой день Заглоба, поймав ее, спросил:

– А что, гайдучок, Нововейского как громом поразило?

– Ага! – отвечала она, кивнув головой и моргая глазами.

– Скажи, что ты ему ответила?

– Вопрос был короткий, потому что он не из робкого десятка, но и ответ был короток: нет!

– Ты прекрасно поступила. Дай тебя обнять за это! Что же, он с тем и уехал?

– Он спрашивал меня, не может ли он со временем надеяться. Жаль мне его было, но нет, нет и нет! Из этого ничего не выйдет.

Тут ноздри Баси зашевелились, она встряхнула головой и замолчала в грустном раздумье...

– Скажи мне, почему ты так сделала? – спросил Заглоба.

– И он об этом спрашивал, но напрасно; я ему не сказала и никому не скажу.

– А может, – спросил Заглоба, пристально глядя ей в глаза, – может, ты таишь в сердце чувство к кому-нибудь другому?

– Кукиш, а не чувство! – крикнула Бася. И, вскочив с места, стала повторять быстро, точно для того, чтобы скрыть свое смущение: – Не хочу пана Нововейского! Не хочу пана Нововейского! Не хочу никого! Чего вы ко мне пристаєте? Чего все ко мне пристають?

И она вдруг расплакалась.

Пан Заглоба утешал ее, как умел, но она весь день была грустной и сердитой.

– Пан Михал, – сказал за обедом Заглоба, – ты уезжаешь, тем временем вернется Кетлинг, а ведь он красавец, каких мало. Не знаю, как там справятся с собой наши панны, но думаю, что по приезде ты их обеих застанешь влюбленными.

– Вот и прекрасно! – ответил Володыевский. – Мы и посватаем за него панну Басю!

Бася впилась в него глазами и спросила:

– А почему вы о Кшисе не позаботитесь? Володыевский очень смешался и ответил:

– Вы еще не знаете, что такое Кетлинг. Но узнаете!

– Почему же Кшиса не может узнать? Ведь это не я пою:

Но и без крови  
Стрелы любви  
Сердце сквозь латы пронзают...

Смешалась и Кшиса, а маленькая змейка продолжала:

– В крайнем случае я попрошу пана Нововейского, чтобы он мне свой щит одолжил, но, когда вы уедете, я не знаю, чем будет защищаться Кшиса, если очередь дойдет до нее.

– Может быть, и найдет чем защищаться, не хуже вас.

– Каким образом?

– Она не так легкомысленна, степеннее вас и благоразумнее!

Пан Заглоба и пани Маковецкая думали, что задорный гайдучок сейчас же начнет воевать, но, к их великому удивлению, гайдучок наклонил голову над тарелкой и только минуту спустя тихим голосом сказал:

– Если вы рассердились, то я прошу извинения и у вас, и у Кшиси.

## XI

Пану Михалу было предоставлено ехать таким путем, каким он сам пожелает. Он поехал в Ченстохов, на Анусину могилу. Выплавав остаток слез, он отправился дальше, а под впечатлением свежих воспоминаний ему не раз приходило в голову, что это таинственное обручение с Кшисей было преждевременно. Он чувствовал, что горе и траур имеют в себе нечто священное и неприкосновенное, и это должно быть предоставлено времени, пока, как туман, оно не поднимется кверху и не рассеется в безмерном пространстве. Правда, бывают люди, которые, овдовев, через месяц, много – через два, снова женятся, но они не начинают с монастыря, и горе поражает их не на пороге счастья, после многих лет ожидания. Наконец, если есть люди, которые не умеют уважать печали, то должен ли я следовать их примеру?

Пан Володыевский ехал на Русь, а упреки совести сопровождали его. Он был все же настолько справедлив, что всю вину брал на себя и ни в чем не упрекал Кшисю. Ко всем многочисленным беспокойствам, которые им овладели, прибавилось еще и то, что, быть может, и Кшися в глубине души осуждает его за такую поспешность.

– Конечно, сама бы она так не поступила, – говорил себе пан Михал, – а так как у нее возвышенная душа, то этой возвышенности она требует и от других.

И он испугался: не показался ли он Кшисе слишком ничтожным. Но это был напрасный страх; Кшисе не было никакого дела до траура пана Михала, а когда он говорил ей об этом слишком много, то не только не вызывал ее сочувствия, но даже задевал ее самолюбие: неужели она, живая, не стоит той, умершей. Неужели она вообще так мало стоит, что даже покойница Ануся, и та может быть ее соперницей. Если бы пан Заглоба был посвящен в эту тайну, он, вероятно, успокоил бы пана Михала тем, что женщины в таких случаях не так уж сострадательны.

Все же после отъезда Володыевского Кшисе казалось странным все, что случилось, а главное, что все уже кончено. Когда она ехала в Варшаву, где она раньше никогда не бывала, она думала, что все будет иначе. На конвокационный сейм и на выборы съедутся дворы епископов и вельмож; съедется знатное рыцарство со всех сторон Речи Посполитой. Сколько там будет веселья, шуму, смотров, а среди этого водоворота, среди толпы рыцарей появится «он», один из тех таинственных рыцарей, каких девушки видят только во сне; он восплает к ней страстью, будет играть под ее окнами на цитре, будет устраивать кавалькады, будет долго любить и вздыхать, долго носить ленту возлюбленной на своем оружии и, наконец, после долгих страданий, преодолев все препятствия, упадет к ее ногам и услышит признание во взаимной любви.

А тут ничего этого не было! Рассеялся радужный туман, и хоть и появился рыцарь, рыцарь даже необыкновенный, слывший первым рыцарем Речи Посполитой, великий кавалер, но совсем не похожий на «того». Не было ни кавалькад, ни игры на лютне, ни турниров, ни смотров, ни лент на оружии, ни шумной толпы рыцарей, ни увеселений, – не было ничего, что, как майский сон, как чудесная сказка на вечеринке, возбуждает любопытство, опьяняет, как аромат цветов, манит, как соловьиная песня; не было ничего, от чего пылает лицо, бьется сердце и по телу пробегает дрожь... Был только домик за городом, а в домике этом – пан Михал; потом произошло объяснение, и – все... Остальное исчезло, как исчезает за тучами луна. Если бы еще этот пан Володыевский явился в конце сказки, быть может, он и был бы желанным. Не раз, думая о его славе, о его благородстве, о его мужестве, гордости Речи Посполитой и грозе врагов, – Кшися чувствовала, что она любит его, но в то же время ей казалось, что чего-то все же нет, что ее ждет какая-то обида – отчасти по его вине, или, вернее, из-за его поспешности...

Эта поспешность у обоих камнем легла на сердце, а так как они теперь были далеко друг от друга, то тяжесть этого камня все увеличивалась. Иной раз в душу человека закрадывается что-то совсем незначительное, что-то вроде маленькой занозы, и отравляет горечью и болью

самую горячую любовь. Но в их любви до горечи и боли было еще далеко. В особенности для пана Михала Кшися была сладостным и успокаивающим воспоминанием, и мысль о ней шла за ним неотступно, как тень идет за человеком. Он думал, что чем дальше он будет от нее, тем она будет для него дороже, тем более он будет вздыхать и тосковать по ней.

Для Кшиси дни проходили гораздо тяжелее: после отъезда маленького рыцаря в дом Кетлинга никто не заглядывал, и жизнь протекала однообразно и скучно.

Пани Маковецкая поджидала мужа и о нем только и говорила, высчитывая, сколько дней осталось до выборов. Бася совсем приуныла. Заглоба поддразнивал ее, говоря, что, отказав Нововойскому, она теперь по нему скучает. И ей хотелось даже, чтобы хоть он приехал, но он сказал себе: «Мне здесь делать нечего», и вскоре уехал за Володыевским. Пан Заглоба тоже собирался назад к Скшетуским, говоря, что ему скучно без детей. Но он был так тяжел на подъем, что изо дня в день откладывал свой отъезд. Басе он объяснял, что причиной этого промедления является она: он влюблен в нее и намерен просить ее руки.

Между тем, когда пани Маковецкая уезжала с Басей к жене подкомория львовского, Заглоба проводил время с Кшисей. Кшися никогда туда не ездила: жена подкомория, несмотря на всю свою доброту, терпеть ее не могла. Но нередко случалось, что и пан Заглоба отправлялся в Варшаву, где проводил время в веселой компании и возвращался домой только на другой день, да и то пьяный. Тогда Кшися оставалась совершенно одна и проводила время в мыслях о Володыевском и о том, что могло бы быть, если бы все не было уже кончено раз и навсегда... Порой она мечтала и о том королевиче из сказки, сопернике пана Михала... Однажды она сидела у окна и задумчиво смотрела на двери комнаты, освещенной яркими лучами заходящего солнца. Вдруг с другой стороны дома послышался звон колокольчика. Кшися подумала сначала, что это вернулась пани Маковецкая с Басей, и, не обратив на это внимания, продолжала в прежней задумчивости смотреть на дверь; между тем дверь открылась и на ее темном фоне перед глазами девушки появилась фигура какого-то незнакомого мужчины.

В первую минуту Кшисе показалось, что она видит какую-то картину или что она уснула и видит сон: так прекрасно было то, что она увидела... Незнакомец был молодой человек, одетый в черный иностранный костюм, с белым кружевным воротником, спускавшимся до плеч. Кшися еще в детстве видела однажды пана Арцишевского, генерала коронной артиллерии, одетого в такой же костюм, – этот костюм и красота Арцишевского надолго остались в ее памяти. Так был одет и молодой человек, но красотой он превосходил и пана Арцишевского, и всех мужчин, живущих на земле. Волосы его, ровно подстриженные на лбу, светлыми локонами падали по обеим сторонам лица; темные брови резко выступали на белом, как мрамор, лбу; глаза были нежны и печальны; светлые усы и светлая остроконечная борода. Голова его была красоты несравненной; вся наружность полна благородства и мужества. Это был ангел-воин. У Кшиси захватило дыхание; глядя на него, она не верила собственным глазам и долго не могла понять, видение ли это или живой человек. С минуту он стоял перед ней неподвижно, изумленный или притворившийся из любезности изумленным красотой Кшиси; наконец он отошел от двери, отвесил ей низкий поклон и страусовыми перьями шляпы несколько раз провел по полу. Кшися привстала, но ноги у нее дрожали; то бледнея, то краснея, она закрыла глаза.

Вдруг прозвучал его низкий, мягкий, как бархат, голос;

– Я – Кетлинг оф Эльгин, друг пана Володыевского и товарищ по оружию. Прислуга сказала мне уже, что я имею несказанное счастье и честь принимать под своим кровом сестру и родных моего друга, но простите, достойная панна, мое смущение: прислуга не сказала мне того, что видят глаза, а глаза не могут вынести вашего блеска.

Таким комплиментом приветствовал Кшисю рыцарь Кетлинг оф Эльгин, но она не ответила ему комплиментом: не могла произнести ни слова. Она только догадалась, что, сказав комплимент, он вторично отвешивает ей поклон: в тишине снова зашелестели по полу перья... Она чувствовала, что надо непременно что-нибудь ответить, отблагодарить комплиментом за ком-

плимент, что иначе ее сочтут за простушку, а между тем у нее захватило дыхание, учащенно бился пульс, и грудь, точно от усталости, то поднималась, то опускалась. Кшися открыла глаза: он стоит перед ней, слегка склонив голову, на его чудном лице – выражение почтительности и восхищения. Дрожащими руками Кшися схватилась за платье, желая хоть сделать реверанс перед незнакомцем, но, к счастью, в эту минуту за дверью раздался крик: «Кетлинг! Кетлинг!» и в комнату вбежал с распростертыми объятиями запыхавшийся пан Заглоба.

Они обнялись, а Кшися в это время старалась опомниться и два, три раза взглянула на молодого рыцаря.

Кетлинг дружески обнимался с паном Заглобой, но с тем удивительным благородством в каждом движении, которое он унаследовал от предков или, быть может, приобрел при дворе короля и вельмож.

– Как поживаешь?! – воскликнул пан Заглоба. – Я так рад видеть тебя в твоём доме, как в своём собственном! Дай поглядеть на тебя! Да, похудел. Знаешь, Михал уехал в полк. О, как ты хорошо сделал, что приехал! Михал о монастыре уже не думает. У тебя гостит его сестра с двумя паннами. Девки – как репки. Одна Езерковская, другая Дрогоевская. Боже мой! Панна Кшися здесь! Простите меня, но пусть лопнут глаза у того, кто будет отрицать вашу красоту, а что касается вас, то рыцарь уже вас рассмотрел...

Кетлинг поклонился в третий раз и сказал, улыбаясь:

– Я оставил мой дом цейхгаузом, а застаю его Олимпом, ибо при самом входе увидел богиню.

– Кетлинг, как поживаешь?! – снова воскликнул Заглоба; ему было мало поздороваться раз, и он опять схватил его в объятия.

– Это ещё что! – говорил он. – Ты не видал гайдучка. Одна красива, но Другая – мед, мед! Как поживаешь, Кетлинг? Дай тебе Бог здоровья! Я тебе буду говорить: ты! Хорошо? Старику так удобнее... Рад ты гостям? Пани Маковецкая остановилась здесь, потому что во время конвокации трудно было найти помещение, но теперь уже будет легче, и она, вероятно, уедет отсюда – с паннами жить у холостого человека неудобно... люди будут косо смотреть и пойдут сплетни.

– Господи! Я ни за что этого не допущу. Я для Володыевского не друг, а брат, а потому и пани Маковецкую я могу принять у себя как сестру. К вам первой я обращаюсь с просьбой и, если нужно, на коленях буду вас умолять.

Сказав это, он опустился на колени перед Кшисей и, схватив ее руку, прижал ее к губам. И смотрел на нее умоляющими глазами, в которых была и радость, и какая-то печаль. Кшися вся вспыхнула, особенно когда пан Заглоба воскликнул:

– Не успел приехать, а уже на коленях перед нею! Ей-богу, я скажу пани Маковецкой, что вас так застал. Кетлинг не зевает. Кшися, учись придворным обычаям!

– Я придворных обычаев не знаю, – прошептала Кшися, совсем растерявшись.

– Могу ли я надеяться на ваше согласие?

– Встаньте, ваць-пане!

– Могу ли я надеяться? Михал мне брат, и ему будет обидно, если этот дом опустеет.

– Мое желание ничего не значит, – сказала Кшися, несколько придя в себя, – за ваше я вам должна быть благодарна!

– Спасибо, – ответил Кетлинг, прижимая к губам ее руку.

– На дворе мороз, а купидон голенький... Но думаю, что если только он сюда попадет, то в этом доме не замерзнет! – воскликнул Заглоба. – От одних только вздохов оттепель будет. Ей-богу, только от вздохов!

– Перестаньте, – сказала Кшися.

– Слава богу, что вы не утратили вашего веселого расположения духа! – сказал Кетлинг. – Веселость признак здоровья!

– И чистой совести, чистой совести! – ответил Заглоба. – В Писании сказано: «У кого зудит, тот и чешется!», а у меня ничто не зудит, и потому я и весел. О, сто тысяч басурманов, что я вижу? Ведь я тебя видел одетым по-польски, в рысьем колпаке и при сабле, а теперь ты опять превратился в какого-то англичанина и ходишь на тонких ногах, как журавль?

– Я долго жил в Курляндии, где не принято одеваться по-польски, а последние два дня я провел у английского посла в Варшаве.

– Ты из Курляндии возвращаешься?

– Да. Мой приемный отец умер и оставил мне там другое имение.

– Царство ему небесное! Он был католик?

– Да.

– Тогда ты должен радоваться! А ты нас не покинешь ради этого курляндского имения?

– Здесь мне жить и умереть! – ответил Кетлинг, взглянув на Кшисю. А она тотчас опустила свои длинные ресницы.

Пани Маковецкая приехала уже в сумерки. Кетлинг вышел встречать ее к воротам и ввел ее в дом с такой почтительностью, точно она была владетельная княгиня. Она хотела на другой же день приискать себе квартиру в городе, но это ни к чему не повело. Молодой рыцарь умолял ее, ссылаясь на свою дружбу с Володыевским, и до тех пор стоял на коленях, пока она не согласилась остаться у него. Было решено, что и пан Заглоба останется у Кетлинга на некоторое время, ибо его годы и его значение могли защитить женщин от сплетен. Он согласился на это тем охотнее, что ужасно привязался к гайдучку, а кроме того, в голове у него возникли новые планы, которые требовали его присутствия. Обе девушки были очень рады, и Бася сразу стала на сторону Кетлинга.

– Сегодня мы и так уже не уедем, – сказала она пани Маковецкой, которая все еще колебалась, – а потом, уедем ли мы одним днем или двадцатью днями позже, это все равно!

Кетлинг понравился ей так же, как и Кшисе, – он нравился всем женщинам. Бася до сих пор еще никогда не видала заграничных кавалеров, если не считать офицеров иностранной пехоты, людей довольно простых; и она ходила кругом него, потрясая своими волосами, раздувая ноздри и присматриваясь к нему с детским, почти назойливым любопытством, за что получила даже выговор от пани Маковецкой. Но, несмотря на это, она не переставала смотреть на Кетлинга, словно желая оценить его военные способности, и, наконец, начала расспрашивать про него пана Заглобу.

– Он хороший воин? – спросила она потихоньку у старого шляхтича.

– Знаменитее и быть не может! Видишь ли, у него опытность в этом деле огромная: он четырнадцати лет сражался уже с английскими бунтовщиками, держа сторону истинной веры... Он шляхтич знатного рода, о чем ты можешь судить по его обращению.

– Вы его видели в огне?

– Тысячу раз! Стоит и не поморщится; гладит лошадь по шее, а сам хоть о любви может говорить...

– Разве принято говорить о любви?

– Принято говорить все, что подтверждает равнодушие к опасности.

– Ну а в поединке он тоже мастер?

– Одно слово – шершень!

– А с паном Михалом справится?

– С паном Михалом не справится.

– Ага! – воскликнула с гордостью Бася. – Я знала, что не справится! Я сейчас же подумала, что не справится!

И она захлопала в ладоши.

– А, так ты стоишь за Михала? – спросил Заглоба.

– Э, что тут! Рада, потому что он наш!



Бася встряхнула волосами и умолкла. Из ее груди вырвался тихий вздох.

– Но только заметь и запомни, гайдучок, – сказал пан Заглоба, – что если на поле битвы трудно найти воина лучше пана Кетлинга, то для женщин он еще опаснее; они в него без ума влюбляются из-за его красоты. Он и в любви опытен на редкость!

– Скажите об этом Кшисе, у меня не любовь в голове, – отвечала Бася и, повернувшись к Дрогоевской, начала звать ее: – Кшися, Кшися, подойди-ка сюда на одно слово.

– Я здесь! – сказала Дрогоевская.

– Пан Заглоба говорит, что ни одна панна, увидав Кетлинга, не может в него не влюбиться. Я уже его осмотрела со всех сторон, и ничего, Бог миловал! Ну а ты как? Чувствуешь уже что-нибудь?

– Баська, Баська! – сказала убеждающим тоном Кшися.

– Он тебе понравился?

– Оставь это! Будь благоразумнее. Милая Бася, не говори вздора – вот пан Кетлинг сюда идет!

И Кшися не успела еще сесть, как Кетлинг подошел и спросил:

– Можно присоединиться к обществу?

– Милости просим, – ответила Езерковская.

– Если так, то я осмелюсь спросить, о чем был разговор?

– О любви, – не задумываясь, ответила Езерковская.

Кетлинг сел возле Кшиси. С минуту они молчали, потому что Кшися, всегда спокойная и владевшая собой, робела в присутствии этого кавалера. Наконец он первый спросил:

– Вы действительно говорили о столь приятном предмете?

– Да, – ответила вполголоса панна Дрогоевская.

– Мне приятно было бы узнать ваше мнение.

– Простите меня, но у меня ни смелости не хватит, ни остроумия, и я полагаю, что скорее от вас услышу что-нибудь новое.

– Кшися права, – вставил свое слово Заглоба. – Мы слушаем!

– Спрашивайте, панна! – сказал Кетлинг.

И, подняв глаза кверху, он задумался; потом, хотя ему и не предлагали вопросов, он заговорил, как бы про себя:

– Любовь – тяжелое несчастье: свободного человека она делает рабом. Как птица, пораженная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, пораженный любовью, навсегда остается у ног любимого человека...

Любовь делает человека калекой, – влюбленный похож на слепого: вне своей любви он ничего не видит. Любовь – печаль: кто проливает более слез, кто более испускает вздохов, как не влюбленный? Кто полюбил, тот уже не думает ни о нарядах, ни об охоте; он готов сидеть по целым дням, обняв свои колени, бесконечно тоскуя, как тот, кто потерял близкого человека.

Любовь – болезнь: у влюбленного, как и у больного, лицо бледнеет, глаза впадают, трясутся руки, худеет тело, и человек начинает думать о смерти, или, как помешанный, ходит с взъерошенными волосами, беседует с луной, чертит на песке любимое имя, а если ветер снесет написанное, он говорит: «Несчастье»... и готов зарыдать.

Кетлинг умолк на минуту, казалось, он погрузился в воспоминания. Кшися внимала его словам, как звукам песни, всей душой. Губы ее полуоткрылись, глаза не отрывались от белоснежного лица рыцаря. У Баси волосы совсем упали на глаза, так что нельзя было узнать, о чем она думала, но она тоже сидела тихо.

Пан Заглоба громко зевнул, откашлялся, вытянул ноги и сказал:

– Такая игра свеч не стоит!

– А между тем, – начал опять рыцарь, – если тяжело любить, то не любить еще тяжелее. Ибо кого же без любви удовлетворит наслаждение, слава, богатство, драгоценные камни...

Кто же не скажет любимому человеку: «Ты мне дороже целого королевства, скипетра, здоровья, многолетней жизни?..» И если каждый за любовь охотно отдаст жизнь, то любовь ценнее жизни...

Кетлинг умолк.

Девушки сидели, прижавшись друг к другу, удивляясь нежности его слов и его взглядам на любовь, столь чуждым польским рыцарям; но пан Заглоба, который уже немного вздремнул, вдруг проснулся и стал, моргая глазами, смотреть на каждого поочередно и, наконец, очнувшись совершенно, громко спросил:

– Что вы говорите?

– Мы говорим вам: спокойной ночи! – ответила Бася.

– Ах да, знаю: вы говорили о любви! Каков же был конец?

– Подкладка оказалась лучше, чем самый плащ!

– Что и говорить! Меня разморило. И то сказать: страданье, рыданье, воздыханье. А я еще одну рифму нашел: «дреманье», и она особенно удачна, ибо уже поздно. Спокойной ночи всей компании и оставьте любовь в покое!.. И я в свое время был похож на Кетлинга, как две капли воды, и был я так влюблен, что баран мог бы бодать меня сзади хоть целый час, я бы ничего не заметил. Но на старости лет я предпочитаю хорошо выспаться, особенно если любезный хозяин не только проводит меня, но и выпьет со мной на сон грядущий.

– Я к вашим услугам! – сказал Кетлинг.

– Пойдем, пойдем! Смотри, как луна высоко! Завтра будет хорошая погода: прояснилось, – светло как днем! Кетлинг готов до утра говорить вам о любви, но помните, козочки, что он устал с дороги.

– Я не устал, я два дня отдыхал в городе. Но я боюсь, что вы не привыкли ложиться поздно, ваць-паннны!

– Слушая вас, не заметишь, как пройдет ночь! – сказала Кшися.

– Нет ночи там, где светит солнце! – ответил Кетлинг.

После этого они разошлись, потому что было действительно поздно. Девушки спали вместе и обыкновенно долго разговаривали перед сном, но в этот вечер Бася никак не могла добиться ни одного слова от Кшиси; насколько Басе хотелось говорить, настолько Кшися была молчалива и отвечала ей только полусловами. И несколько раз, когда Бася говорила о Кетлинге, начинала острить, подшучивая над ним и слегка его передразнивая, Кшися нежно обнимала ее за шею и просила оставить эти шалости.

– Ведь он здесь хозяин, Бася, – говорила она, – мы живем под его кровом... И я заметила, что он сразу полюбил тебя.

– Откуда ты знаешь? – спросила Бася.

– Да кто же не полюбит тебя? Тебя все любят... и я... очень!..

Сказав это, приблизила свое прекрасное лицо к лицу Баси, прижалась к ней и целовала ее глаза.

Наконец они улеглись, но Кшися долго не могла заснуть. Ее охватило беспокойство. Минутами сердце билось так сильно, что она клала руку на грудь, чтобы сдержать его биение. Минутами, когда она пробовала закрыть глаза, ей казалось, что чья-то прекрасная, как мечта, голова склоняется над нею, а тихий голос шепчет ей на ухо:

– Ты мне дороже королевства, скипетра, здоровья, многолетней жизни...

## XII

Несколько дней спустя пан Заглоба написал Скшетускому письмо; оно начиналось так:

«Если я не вернусь до выборов, не удивляйтесь! Это произойдет не от недостатка расположения к вам; дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы у меня вместо синицы в руке осталось что-нибудь не весьма приличное. Плохо будет, если, когда Михал вернется, мне не придется сразу сказать ему: «Та сосватана, а гайдучок свободен!» Все в руках Божьих, но думаю, что тогда пана Михала не нужно будет подталкивать и делать длинные приготовления, и что к вашему приезду он уже сделает предложение. Между тем (по примеру Одиссея) мне придется хитрить и кое-что прикрашивать, а это мне нелегко, ибо я всю жизнь ценил правду больше всего и только ею и жил. Но для пана Михала и для гайдучка я готов и на это, ибо оба они – чистое золото. Засим обнимаю вас и вместе с детьми прижимаю к сердцу и поручаю всех вас Господу Богу!»

Окончив письмо, пан Заглоба посыпал его песком; хлопнул по письму рукой, прочел его еще раз, держа далеко от глаз, потом сложил лист, снял с пальца перстень, поцеловал его и собрался запечатывать письмо, как вдруг вошел Кетлинг.

– Здравствуйте, ваша милость.

– Здравствуй, здравствуй! – ответил пан Заглоба. – Погода, слава богу, прекрасная, я хочу послать нарочного к Скшетуским.

– Кланяйтесь от меня.

– Я уже это сделал. Я сейчас же подумал, надо послать поклон и от Кетлинга. Оба они обрадуются, получив хорошие вести. А я поклонился им и от тебя еще потому, что все мое письмо написано им о тебе и о паннах.

– Как так? – спросил Кетлинг.

Заглоба положил обе руки на колени и начал перебирать пальцами. Потом наклонил голову и, взглянув исподлобья на Кетлинга, сказал:

– Милый Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы угадать, что там, где есть кремь и огниво, рано или поздно посыплются и искры. Ты красавец из красавцев, а девушек сам видел!..

Кетлинг сильно смутился.

– Надо иметь бельма на глазах или быть диким варваром, – ответил он, – чтобы не видеть их красоты и не преклониться перед нею!

– Ну, вот видишь! – сказал Заглоба, с улыбкой глядя на вспыхнувшее лицо Кетлинга. – Но только, если ты не варвар, то не гонись за обеими: так делают только турки!

– Как вы можете предполагать?!

– Я ничего не предполагаю, я просто говорю... Ах, предатель! Ты им так напел про любовь, что Кшися третий день ходит бледная, точно после болезни. Да и не диво! Сам я, когда был молод, простаивал на морозе с лютней под окнами одной чернушки (на Дрогоевскую была похожа!) и, помнится, пел:

Ты, ваць-панна, спишь давно,  
Я ж смотрю в твое окно,  
Млею и бледнею...

Если хочешь, то я научу тебя этой песенке или сочиню другую, новую – у меня на это талант есть! Ты заметил, что Дрогоевская напоминает прежнюю панну Биллевич, только у той волосы как лен и нет пушка над губой; но многие находят в этом особенную красоту и считают за редкость! Она смотрит на тебя очень благосклонно. Я об этом и писал к Скшетуским. Не правда ли, она похожа на Биллевич?

– В первую минуту я не заметил этого сходства, но возможно... Ростом и фигурой напоминает.

– А теперь слушай, что я скажу: я тебе открою семейные тайны, и так как ты друг, то ты должен все знать. Смотри, не отплати Володыевскому неблагодарностью – мы оба с пани Маковецкой предназначаем для него одну из этих девушек.

Тут пан Заглоба стал пристально, в упор смотреть Кетлингу в глаза; тот побледнел и спросил:

– Которую?

– Дрогоевскую, – медленно ответил Заглоба.

И, оттопырив нижнюю губу и насупив брови, он начал моргать своим здоровым глазом.

Кетлинг молчал до тех пор, пока пан Заглоба не спросил:

– Ну, что ты на это скажешь, а?

Кетлинг ответил изменившимся голосом, но твердо:

– Будьте уверены, что я сумею справиться со своим сердцем, чтобы не вредить Михалу!

– Ты уверен в этом?

– Я много выстрадал в жизни, – ответил рыцарь, – но, даю рыцарское слово, я сумею справиться.

Тут пан Заглоба раскрыл свои объятия.

– Кетлинг! Нечего справляться с сердцем – дай ему волю, сколько хочешь, я только хотел испытать тебя! Не Дрогоевскую, а гайдучка мы предназначили Михалу.

Лицо Кетлинга просияло искренней и глубокой радостью; он схватил пана Заглобу в объятия и потом спросил:

– Они впрямь любят друг друга?

– А кто может не любить моего гайдучка? Кто? – возразил Заглоба.

– Значит, и обручение уже было?

– Обручения еще не было, потому что Михал только что оправился от своего горя, но непременно будет... Положись на меня! Девушка хоть вывертывается, как змейка, но она к нему очень расположена: сабля у нее – первое дело!

– Я это заметил, ей-богу! – перебил его просиявший Кетлинг.

– Ага, заметил! Михал еще ту оплакивает, но если уж кого-нибудь полюбит, то, конечно, гайдучка, она на ту похожа, только не так глазами стреляет, потому что моложе. Ну что, не правда ли, все хорошо устраивается? Головой ручаюсь, что во время выборов у нас две свадьбы будет.

Кетлинг, не говоря ни слова, опять обнял пана Заглобу и так долго прижимал свое прекрасное лицо к его красным щекам, что тот начал сопеть и спросил:

– Неужели Дрогоевская так сильно запала тебе в сердце?

– Не знаю, не знаю! – ответил Кетлинг. – Знаю только то, что лишь ее небесные черты пленили мои глаза, я тотчас же сказал себе, что только ее одну могло бы еще полюбить мое истерзанное сердце, – и в эту ночь, спугнув сон воздыханиями, я предался сладостной тоске. С тех пор она овладела моим существом, как владеет царица верным и преданным народом. Любовь ли это или что-нибудь другое, не знаю!

– Но знаешь, что это не шапка, не три аршина сукна на штаны, не подпруга, не черессдельник, не яичница с колбасой, не фляга с водкой. Если ты в этом уверен, то об остальном спроси Клшсю, а если хочешь, то я спрошу!

– Не делайте этого! – сказал с улыбкой Кетлинг. – Если мне суждено Утонуть, то пусть хоть несколько дней еще мне будет казаться, что я плыву!

– Вижу, что шотландцы молодцы на войне, но в любви никуда не годятся. Женщину, как врага, натиском брать надо. *Veni, vidi, vici!*<sup>14</sup> – вот было мое правило.

– Со временем, если самые пламенные желания мои исполнятся, я, может быть, попрошу у вас вашей дружеской помощи. Хотя я и приобрел права гражданства, хотя в жилах моих и течет благородная кровь, но имя мое здесь неизвестно, и я не знаю, согласится ли пани Маковецкая...

– Пани Маковецкая? – перебил Заглоба. – Ну, ее ты не бойся! Она настоящая табакерка с музыкой. Как я ее заведу, так она и заиграет. Я сейчас к ней пойду. Надо ее предупредить, чтобы она не косилась на твои ухаживания за Кшисей, а то вы, шотландцы, больно уж чудно ухаживаете; конечно, я сейчас не сделаю предложения от твоего имени, но только намекну, что девушка тебе по сердцу и что стоит заварить кашу. Ей-богу, сейчас пойду, а ты уж не бойся. Я ведь могу говорить, что мне угодно.

И несмотря на то, что Кетлинг все еще удерживал его, он встал и ушел. По дороге он натолкнулся на бежавшую куда-то Басю и сказал ей:

– Знаешь, Кшися совсем с ума свела Кетлинга!

– Не его одного, – ответила Бася.

– А ты на это не злишься?

– Кетлинг кукла! Учтивый кавалер, но кукла!.. Я ушибла колено о дышло, вот в чем дело!

Тут Бася нагнулась и стала растирать колено, не сводя в то же время глаз с пана Заглобы, а он сказал ей:

– Ради бога, будь осторожнее. Куда ты теперь бежишь?

– К Кшисе.

– А что она делает?

– Она? Вот уже несколько дней, как целует меня с утра до вечера и ласкается, как кошечка.

– Не говори же ей, что она Кетлинга с ума свела.

– Ну да! Уж будто я выдержу!

Пан Заглоба отлично знал, что Бася не выдержит, и только потому и запретил ей говорить.

Он пошел дальше, довольный своей хитростью, а Бася, как бомба, влетела к Дрогоевской.

– Я ушибла себе колено, а Кетлинг от тебя без ума! – воскликнула она еще с порога. – Я не заметила, что из каретного сарая дышло торчит, и бац! У меня из глаз искры посыпались, но это ничего! Пан Заглоба просил тебе не говорить. Разве я тебе не говорила, что так будет? Я тебе давно предсказывала, а ты говорила, что он на меня заглядывается. Не бойся, я тебя знаю! А все-таки болит! Я не говорила, что пан Нововейский на тебя заглядывается, но Кетлинг, ого! Он теперь ходит по всему дому, держится за голову и сам с собой разговаривает. Ну и Кшися!

– Бася! – воскликнула Дрогоевская.

– А Кетлинг – как кот в сапогах!

– Какая я несчастная! – вдруг воскликнула Кшися и залилась слезами. Бася сейчас же принялась утешать ее, но это ей не удалось, и девушка разрыдалась, как никогда еще в жизни не рыдала. И, действительно, никто в доме не знал, как она была несчастна. Уже несколько дней она была в лихорадке, побледнела; глаза впали, грудь вздымалась прерывистым дыханием, с ней произошло что-то странное; ею овладела какая-то немочь, и не постепенно, а сразу: подхватила, как вихрь, как буря распалила ее кровь огнем, ослепила, как молния. Она ни на минуту не могла противиться этой силе, столь беспощадной и внезапной. Спокойствие покинуло ее. Воля ее была, как птица с надломленными крыльями...

---

<sup>14</sup> Пришел, увидел, победил (*лат.*).

Она сама не знала, любит ли она Кетлинга или ненавидит. И ужас наполнял ее сердце, когда она задавала себе этот вопрос, но она чувствовала, что ее сердце билось сильнее только из-за него, что все беспорядочные мысли ее – о нем; что он всюду – в ней и вне ее. И не было никакой возможности спастись от этого. Легче было его не любить, чем не думать о нем; глаза упились его красотой, уши заслушались его словами – вся душа была пропитана им... Даже сон не освобождал ее от этого преследователя; чуть, бывало, она закрывала глаза, тотчас к ней наклонялся он и шептал: «Ты мне дороже королевства, скипетра, славы, богатства». И лицо его было так близко, так близко, что даже в темноте щеки ее пылали ярким румянцем. Дрогоевская была русинка с горячей кровью, какой-то неведомый ей доселе огонь горел в ее груди, огонь, о существовании которого она и не подозревала; ею овладевал и страх, и стыд, и какая-то истома, мучительная и вместе с тем сладкая. И даже ночью она не знала отдыха. Она чувствовала все большее утомление, точно после тяжелого труда.

– Кшися, Кшися, что с тобой творится? – спрашивала она себя. Но она была в каком-то оцепенении, в каком-то дурмане...

Ничего еще не случилось, ничего не произошло, с Кетлингом они до сих пор не обменялись ни одним словом наедине, и хотя он всецело овладел ее мыслями, но какой-то инстинкт подсказывал ей: «Избегай его, остерегайся!», и она избегала.

О том, что она обручена с Володыевским, она не думала, и это было ее счастье; она не думала, потому что еще ничего не случилось, и она ни о ком, кроме Кетлинга, – ни о себе, ни о других, – не думала.

Она все это скрывала в глубине души, а мысль, что никто не догадывается о том, что происходит с ней, что ее отношением к Кетлингу не интересуются, доставляла ей немалое облегчение. Вдруг слова Баси убедили ее, что дело обстоит иначе, что люди на них смотрят, мысленно их соединяют, догадываются. И боль, и стыд, и горе сломили ее волю, и она расплакалась, как дитя.

Но слова Баси были только началом тех намеков, многозначительных взглядов, подмигиваний, покачиваний головою и всего подобного, что ей предстояло еще перенести. Началось это за обедом. Пани Маковецкая стала поглядывать то на нее, то на Кетлинга, чего раньше никогда не делала. Заглоба многозначительно покашливал. По временам разговор обрывался ни с того ни с сего, и наступало тяжелое молчание, а во время одного из таких перерывов шалунья Бася вдруг закричала во весь голос:

– А я что-то знаю, да не скажу!

Кшися тотчас вспыхнула, потом побледнела, точно какая-то страшная опасность повисла над нею. Кетлинг тоже опустил голову. Оба прекрасно чувствовали, что это относится к ним, хотя и избегали говорить друг с другом, хотя она и остерегалась даже смотреть на него; для обоих было ясно, что между ними что-то завязывается, возникает какая-то неопределенная общность смущения, которая их и сближает, и отдаляет, лишая их свободы в обращении друг с другом и возможности быть друзьями. К их счастью, на слова Баси никто не обратил особенного внимания, так как пан Заглоба собирался в город и должен был вернуться с большой компанией рыцарей, и все были этим заняты.

Вечером дом Кетлинга был ярко освещен; приехало много военных, а гостеприимный хозяин нанял музыкантов для увеселения дам. Великий пост и траур Кетлинга не позволили устроить танцы, а потому все только разговаривали и слушали музыку. Дамы оделись по-праздничному: пани Маковецкая надела платье из восточного шелка, гайдучок нарядился во что-то пестрое и приковывал глаза воинов своим розовым личиком и светлыми волосами, которые по-прежнему все спадали на глаза. Он смешил всех решительностью своих ответов и своими манерами, в которых казацкая смелость соединялась с непринужденной грацией.

Кшися, траур которой по отцу кончался, была одета в белое платье, шитое серебром. Рыцари сравнивали ее – одни с Юноной, другие с Дианой, но никто не подходил к ней близко,

никто, глядя на нее, не покручивал усов, не шаркал ногами, не отбрасывал откидных рукавов кунтуша, никто не бросал на нее страстных взглядов и не говорил с ней о чувстве. Зато она заметила, что те, кто глядел на нее с восхищением и удивлением, сейчас же переводили глаза на Кетлинга. Некоторые из них подходили к нему, пожимали ему руку, точно с чем-то поздравляя его; Кетлинг только пожимал плечами, разводил руками и как будто от чего-то отказывался. Кшися, от природы впечатлительная и догадливая, была почти уверена, что речь идет о ней, что ее считают его невестой. А так как она не знала, что пан Заглоба уже успел кое-что шепнуть каждому из них, то она ломала себе голову, откуда могло явиться подобное предположение.

«Неужели у меня что-нибудь на лбу написано?» – с беспокойством думала она, смущенная и огорченная.

А тут до нее стали долетать слова, как будто и не относившиеся к ней, но произносимые громко: «Счастливцев Кетлинг... В сорочке родился... И неудивительно... Ведь и красавец же!...»

Иные учтивые кавалеры, желая занять ее и сказать что-нибудь приятное, говорили ей о Кетлинге, восхваляли его, превозносили его храбрость, деловитость, светскость и знатное происхождение. А Кшися волей-неволей должна была все это слушать, и ее глаза невольно искали того, о ком шла речь, и иной раз их глаза встречались. И тогда очарование охватывало ее с новой силой, и, сама того не сознавая, она упивалась его видом. О, насколько отличался Кетлинг от всех этих грубых солдат! «Это королевич среди своих придворных», – думала Кшися, глядя на его благородную, аристократическую голову, на его гордые глаза, полные какой-то врожденной меланхолии, на его белый лоб, оттененный светлыми волосами. И сердце ее млело и замирало, точно эта голова была для нее дороже всего на свете. Он это видел и, не желая увеличивать ее смущения, подходил к ней лишь тогда, когда кто-нибудь другой сидел возле нее. Если бы она была королевой, то и тогда он не мог бы выказывать ей большего уважения и большего внимания. Говоря с ней, он наклонял голову и отодвигал одну ногу, желая дать ей понять, что готов преклонить перед нею колени. Он говорил с нею серьезно, не позволяя себе ни малейшей шутки, хотя с Басей, например, он рад был пошутить. В его обращении с нею было и величайшее уважение, и оттенок какой-то нежной грусти; и благодаря такому обращению никто не позволил себе никакой смелой шутки, никакого намека, как будто у всех было убеждение, что эта панна по своим достоинствам и по своему происхождению стоит выше всех и что в обращении с нею нужна особенная учтивость.

За все это Кшися была ему от души благодарна. И вообще, этот вечер прошел для нее хотя и тревожно, но и сладостно. Когда наступила полночь и музыка перестала играть, дамы простились с обществом, а в компании воинов стали кружить чарки и началось шумное веселье, – пан Заглоба занял председательское место. Бася вернулась наверх веселая, как птичка. Она много веселилась в этот вечер, и прежде чем начать молиться, стала шалить, болтать, передразнивать гостей, наконец сказала Кшисе, захлопав при этом в ладоши:

– Как хорошо, что твой Кетлинг приехал. По крайней мере, в рыцарях у нас недостатка не будет. О, пусть только кончится пост, мы натанцуемся до упаду! Вот повеселимся!.. А на твоём обручении с Кетлингом, на твоей свадьбе! Если я не переверну дома вверх дном, то пусть меня татары в плен возьмут! Вот бы хорошо было, если бы нас в самом деле взяли! Что бы тогда было, а? Добрый Кетлинг! Для тебя он музыкантов зовет, но этим и я пользуюсь. Еще много чудес натворит он для тебя, пока, наконец, не сделает так...

Сказав это, Бася вдруг бросилась на колени перед Кшисей и, обняв ее, стала говорить, подражая низкому голосу Кетлинга:

– Ваць-панна, я люблю вас так, что дышать не могу... Я вас люблю и пешком, и на коне, и натошак, и поевши, и на веки, и по-шотландски... Хочешь ли быть моей?

– Бася, я рассержусь! – восклицала Кшися.

Но вместо того чтобы рассердиться, она схватила ее в объятия и, делая вид, что старается поднять ее, стала целовать ее глаза.



### ХІІІ

Пан Заглоба прекрасно знал, что маленького рыцаря больше тянуло к Кшисе, чем к Басе, но потому-то он и решил отстранить от него Кшисю. Зная Володыевского, он был уверен, что, когда у него не будет выхода, он непременно обратится к Басе, которой старый шляхтич был так очарован, что не мог допустить и мысли, чтобы кто-либо предпочел ей другую. Он полагал, что не может оказать Володыевскому большей услуги, как сосватав ему своего гайдучка, и он приходил в восторг при мысли об этой паре. На Володыевского он был зол так же, как и на Кшисю. Конечно, он предпочитал, чтобы пан Михал женился хоть на Кшисе, чем если бы совсем не захотел жениться; но он решил употребить все усилия, чтобы женить его на гайдучке.

И именно потому, что он знал влечение маленького рыцаря к Дрогоевской, он решил как можно скорее сделать ее женой Кетлинга.

Но ответ, который он несколько дней спустя получил от Скшетуского, отчасти поколебал его решимость. Скшетуский советовал ему ни во что не вмешиваться. Он боялся, как бы между друзьями не вышло ссоры; этого, конечно, не желал и сам пан Заглоба. И тут-то его стали мучить упреки совести, но он успокаивал себя следующими словами:

– Если бы Михал с Кшисей были уже помолвлены и я бы клином вставил между ними Кетлинга, то и говорить нечего! Соломон сказал: «Не суй носа, куда не надо», и он прав. Но ведь желать добра каждому можно. Да и говоря правду, что же я сделал такого? Пусть мне скажут, что я сделал?

Сказав это, пан Заглоба подбоченился, оттопырил губу и стал вызывающе глядеть на стены своей комнаты, точно ждал от них упреков, но так как стены ничего не ответили, то он продолжал:

– Я сказал Кетлингу, что гайдучка предназначаю Михалу. Разве мне этого нельзя? Может быть, это неправда? Если я Михалу желаю кого-нибудь другого, то пусть меня подагра мучит!

Стены своим молчанием выразили полное согласие с паном Заглобой. А он продолжал:

– Я сказал гайдучку, что Дрогоевская очаровала Кетлинга, разве это неправда? Разве он в этом не признался? Разве он не вздыхал, сидя у печки, так, что оттуда даже пепел вылетал в комнату. Что я сам видел, то и другим сказал. Скшетуский – человек практичный, но ведь и у меня ума хватит. Я сам знаю, что можно сказать и о чем лучше умолчать... Гм... пишет, чтобы я ни во что не вмешивался. Пусть будет так. Я не буду слишком вмешиваться в это дело, но если мы когда-нибудь с Кшисей и Кетлингом останемся в комнате, то я уйду и оставлю их наедине. Пусть справляются сами. И я думаю, что они справятся! Им ничьей помощи не нужно. И так, как только они друг друга увидят, у них глаза закатываются. Вдобавок весна идет, а в это время не только солнце начинает припекать, но и страсти. Хорошо, я оставлю, а потом увидим, каков будет результат.

И результат должен был вскоре наступить. На Страстной неделе все общество из дома Кетлинга переехало в Варшаву, остановилось в гостинице на Длугой улице, чтобы быть поближе к костелам, вволю помолиться и в то же время посмотреть на праздничную жизнь города. Кетлинг и здесь продолжал играть роль хозяина; хотя по происхождению он был иностранец, но столицу он знал лучше всех, и всюду у него было много знакомых, при помощи которых он все мог уладить. Он был необычайно предупредителен и почти угадывал мысли дам, в особенности Кшиси. И все они искренне его любили. Пани Маковецкая, уже раньше предупрежденная паном Заглобой, все благосклоннее смотрела на него и на Кшисю, и если она ничего до сих пор не говорила девушке, то только потому, что Кетлинг все еще молчал. Доброй тетушке казалось весьма естественным и приличным, что молодой кавалер ухаживает за девушкой, тем более что это был блестящий кавалер, который не только со стороны низших, но и со стороны высших всюду встречал уважение и дружбу: так он умел привлекать к себе всех

своей необыкновенной наружностью и обхождением, серьезностью, щедростью, кротостью в мирное время и храбростью во время войны.

«Будет, как Богу угодно и как муж решит, – думала пани Маковецкая, – но я им мешать не буду».

И благодаря этому решению Кетлинг теперь чаще оставался с Кшисей, чем в собственном доме. Впрочем, все общество проводило время вместе.

Заглоба обыкновенно предлагал руку пани Маковецкой, Кетлинг – Кшисе, а Бася, как самая младшая, бежала одна, то опережая всех, то останавливаясь перед лавками, чтобы поглядеть на товары и на всякие заморские чудеса, которых до сих пор никогда не видала. Кшися мало-помалу освоилась с Кетлингом; теперь, когда она опиралась на его руку, слушала его разговор и смотрела на его благородное лицо, сердце ее уже не билось с прежней тревогой, она не лишалась самообладания, не терялась, но ощущала какое-то сладостное упоение. Они постоянно были вместе: в церкви они рядом становились на колени, голоса их сливались в молитве и благочестивом пении.

Кетлинг прекрасно знал состояние своего сердца; Кшися, по недостатку ли храбрости или, быть может, желая себя обмануть, ни разу не сказала себе: «Я люблю его», но оба они полюбили друг друга крепко.

Кроме того, между ними завязалась и сильная дружба, о любви они никогда не говорили друг с другом, и время у них проходило, как чудный сон, как безоблачный день.

Вскоре для Кшиси его должны были заслонить темные тучи упреков совести, но пока еще она была спокойна. Благодаря тому, что она освоилась с ним, благодаря той дружбе, которая расцвела из их любви, тревоги Кшиси кончились, впечатления были уже не так сильны, улеглись порывы крови и воображения. Они были неразлучны, им было хорошо вместе, и Кшися, отдавшись всей душой настоящему, не хотела думать о том, что когда-нибудь все это кончится и что достаточно одного слова Кетлинга «люблю», чтобы навсегда рассеять эти иллюзии.

Слово это вскоре было произнесено. Однажды, когда пани Маковецкая с Басей поехали к больной родственнице, Кетлинг уговорил Кшисю и пана Заглобу отправиться осмотреть королевский замок, который Кшися еще не видала и про который во всей стране рассказывали так много чудес.

Они отправились втроем. Щедрость Кетлинга открыла им все двери, слуги встречали Кшисю с такими низкими поклонами, точно она была королевой и входила в свой собственный замок; Кетлинг, хорошо знавший замок, водил ее по великолепным залам и покоям. Они осматривали театр, королевские бани, останавливались перед картинами, изображавшими сражения и победы Сигизмунда и Владислава над восточными дикарями. Выходили на террасы, откуда открывался далекий вид. Кшися приходила все в больший восторг, а он объяснял ей каждую вещь, и лишь порой умолкал и смотрел в ее темно-синие глаза; казалось, взгляд его говорил: «Что значат эти сокровища в сравнении с тобою». Девушка понимала его немую речь. Потом он ввел ее в одну из королевских комнат и, остановившись перед потайной дверью в стене, сказал:

– Через эту дверь можно дойти до собора. Это длинный коридор, который кончается галереей недалеко от главного алтаря. С этой галереи их величества обыкновенно слушают обедню.

– Я прекрасно знаю эту дорогу, – ответил Заглоба, – я был хорош с Яном Казимиром, и Мария Людовика меня также очень любила, и оба они часто приглашали меня к обедне, чтобы потом проводить время в моем обществе.

– Не хотите ли войти? – спросил Кетлинг Кшисю, в то же время дав знать слуге, чтобы тот открыл дверь.

– Войдемте, – сказала Кшися.

– Идите одни, – отозвался пан Заглоба, – вы молоды, у вас ноги здоровые, а я довольно уже находился. Идите, идите, я останусь здесь со сторожем. Если вы там и помолитесь, я сердиться не буду, – отдохну за это время.

Они пошли. Он взял ее под руку и повел по длинному коридору. Он не прижимал ее руки к сердцу, шел спокойный и сосредоточенный. Временами сквозь боковые окна пробивался слабый свет, временами они тонули в полном мраке. Сердце Кшиси билось слегка: в первый раз они остались наедине. Но его спокойствие и нежность успокаивали ее. Наконец, они вошли в галерею, находившуюся с правой стороны костела, за решеткой, недалеко от главного алтаря. Преклонив колени, они стали молиться. В костеле было пусто и тихо. Две свечи горели у главного алтаря, но глубина костела была погружена в торжественный полумрак. И только свет, проникавший сквозь разноцветные стекла окон, падал на два прекрасных лица, погруженных в молитву, спокойные, похожие на лица херувимов.

Кетлинг встал первый и, не смея возвышать голоса в церкви, заговорил шепотом:

– Посмотрите на бархатные спинки сидений, на них следы, где опирались головы короля и королевы. Королева садилась с этой стороны, поближе к алтарю. Отдохните на ее месте.

– Правда ли, что она всю жизнь была несчастна? – прошептала Кшися, садясь.

– Историю ее я слышал еще ребенком, ее рассказывали во всех рыцарских замках. Может быть, она действительно была несчастна, ибо не могла выйти за того, кого любила.

Кшися прислонила голову к тому самому месту, спинка которого была слегка вдавлена головой Марии Людвики, и закрыла глаза; какое-то тяжелое чувство стеснило ей грудь; из пустынной глубины костела пахло холодом, и это смутило покой, которым до тех пор было проникнуто все ее существо.

Кетлинг смотрел на нее молча; в костеле было необыкновенно тихо... этом он медленно опустился к ногам Кшиси и стал говорить взволнованным, хотя и спокойным голосом.

– Это не грех, что в этом святом месте я стал перед вами на колени, ибо куда как не в церковь приходит чистая любовь за благословением... Я люблю вас больше жизни, больше всех благ земных, люблю всем сердцем, всей душой и здесь перед этим алтарем я открываю вам мою любовь...

Кшися побелела как полотно. Она сидела, прислонив голову к бархатной спинке кресла, и не могла шевельнуться.

– Я обнимаю твои колени и умоляю решить мою участь: уйти ли мне с неземной радостью или с бесконечной скорбью, коей перенести я не буду в силах.

Тут он с минуту ждал ответа, но ответа не было. И он склонил голову так низко, что она почти касалась Кшисиных ног, его волнение все возрастало, голос его дрожал, точно он задыхался.

– В руки твои я предаю свое счастье и свою жизнь... Я жду от тебя сострадания, ибо мне тяжело...

– Будем молиться о милосердии Божьем! – воскликнула вдруг Кшися, опускаясь на колени.

Кетлинг не понял, но он не смел противиться ее желанию и, полный тревоги, стал около нее на колени, и они начали молиться.

В пустом костеле слышались возгласы, которым эхо придавало какой-то странный и скорбный оттенок.

– Боже, будь милостив к нам! – воскликнула Кшися.

– Боже, будь милостив к нам! – повторил Кетлинг.

– Господи, помилуй нас!

– Господи, помилуй нас!

Потом она молилась про себя, но Кетлинг видел, что она вся трясется от рыданий. Долго она не могла успокоиться, а когда пришла в себя, то еще долго и неподвижно стояла на коленях. Наконец, встав, она сказала:

– Пойдемте.

Они опять вошли в длинный коридор. Кетлинг ожидал, что по дороге она даст ему какой-нибудь ответ, и смотрел ей в глаза, но напрасно. Она шла очень быстро; казалось, она спешила очутиться в той комнате, где их ждал пан Заглоба.

Когда дверь была уже в нескольких шагах, Кетлинг схватил ее за край платья.

– Панна Кристина, – сказал он, – заклинаю вас всем святым...

Тогда Кшися повернулась и, схватив его руку так быстро, что он не успел отдернуть, прижала ее к своим губам:

– Я люблю тебя всею душой, но твоей никогда не буду!

И прежде чем ошеломленный Кетлинг успел опомниться, она прибавила:

– Забудь обо всем, что было!

И они вошли в комнату. Привратник спал в одном кресле, а пан Заглоба в другом. Но при их появлении они проснулись. Заглоба открыл глаза и стал моргать, так как еще не совсем пришел в себя. Но мало-помалу он окончательно очнулся.

– А, это вы! – сказал он, опуская пояс. – Снилось мне, что выбрали нового короля, но это был Пяст. Вы были в галерее?

– Да.

– А душа Марии Людвики вам не являлась?

– О нет! – ответила Кшися глухим голосом.

## XIV

Кетлинг был так изумлен поведением Кшиси, что ему необходимо было собраться с мыслями, а потому у ворот он простился с нею и с Заглобой, и те вдвоем отправились в гостиницу. Бася с Маковецкой уже вернулись от больной, и пани Маковецкая встретила Заглобу следующими словами:

– Я получила письмо от мужа; он до сих пор в станице у пана Михала. Оба здоровы и скоро будут здесь. Михал прислал и вам письмо, а мне только приписку в письме мужа. Муж пишет, что недоразумения с Шубрами, из-за одного из имений Баси, кончились благополучно. Теперь там уже скоро соберутся сеймики. Он говорит, что там имя пана Собеского имеет огромное значение, а потому и решение сеймика будет согласно с его желанием. Все съезжаются, но наши края будут стоять за маршала коронного... Там уже тепло и дожди пошли... У нас в Верхутце сгорели постройки... Парень с огнем был неосторожен, а было ветрено...

– Где письмо Михала ко мне? – спросил Заглоба, прерывая этот поток новостей, которые пани Маковецкая выложила, не переводя дух.

– Вот оно! – отвечала она, подавая ему письмо. – А было ветрено, и люди были на ярмарке...

– Как же сюда дошли эти письма? – снова спросил Заглоба.

– Присланы были в дом Кетлинга, а оттуда принес их слуга. И вот, говорю, было ветрено...

– Не хотите ли послушать письмо?

– С удовольствием, пожалуйста...

Пан Заглоба сломал печать и стал читать сначала про себя, а потом уже громко, для всех: «Посылаю вам первое письмо и полагаю, что второго не будет; почта здесь ненадежна, да и сам я, собственной персоной, скоро предстану перед вами. Хорошо здесь, в поле, но сердце мое рвется к вам; нет конца воспоминаниям и размышлениям, благодаря коим мне более приятно уединение, чем общество. Дела мы так и не начинали, орда сидит тихо, только небольшие шайки бушуют в степи, и мы их дважды так ловко прижали, что не выпустили ни одного свидетеля поражения».

– Вот как их вздули! – радостно воскликнула Бася. – Нет ничего лучше военного дела!

«Люди из шайки Дорошенки, – читал дальше Заглоба, – рады бы с нами пошालить, но без орды им никак нельзя. Пленники же говорят, что ни один большой чамбул не тронется, да и я сам думаю, что если бы они что-либо затевали, то это обнаружилось бы уже на деле; травы уже с неделю зеленеют и есть чем кормить лошадей. По оврагам кой-где еще лежит снег, но степь вся зазеленела, дует теплый ветер, от которого лошади начинают линять, а это первый признак весны. Я уже послал за отпуском, жду его со дня на день; как только получу, сейчас же в путь... На сторожевом посту, где и так нечего делать, меня заменит пан Нововейский. Мы с паном Маковецким по целым дням травим лисиц, и то лишь от безделья, ведь весной мех не нужен. И дроф здесь много, слуга мой застрелил из самопала пеликана. Обнимаю вас от всего сердца, сестре целую ручки, а также и панне Клшсе, расположению коей я себя особенно поручаю, и только о том молю Бога, чтобы застать ее такой, как оставил, и чтобы по-прежнему мог я найти в ней утешение. Поклонитесь от меня панне Басе. Нововейский вымещает свою злость за отказ в Мокотове на спинах здешних разбойников: видно, он еще не совсем успокоился. Поручаю вас Богу и его милосердию».

Я купил у проезжавших армян отменный горностаевый мех, этот подарок я привезу панне Кшисе, а для нашего гайдучка найдутся турецкие лакомства».

– Пусть пан Михал сам их съест, я не ребенок! – отозвалась Бася, щеки которой вспыхнули от внезапной досады.

– Так ты не рада увидеть его? Ты сердишься на него? – спросил Заглоба. Но она что-то тихонько проворчала и погрузилась в гневные мысли о том, как пренебрежительно относится к ней пан Михал. Но потом она вспомнила о дрофах и о пеликане, который сильно ее заинтересовал.

Во время чтения Кшися сидела с закрытыми глазами. К счастью, она отвернулась от света, и присутствующие не могли видеть ее лица, иначе они сейчас бы догадались, что с ней происходит что-то необыкновенное. То, что произошло в костеле, а потом письмо пана Володыевского было для нее как два удара обухом. Чудный сон рассеялся, и с этой минуты девушка стала лицом к лицу с действительностью, тяжелой как само несчастье. Она не могла сразу собраться с мыслями, и лишь неясные, смутные чувства теснились в ее сердце. Володыевский вместе с его письмом, с его уведомлением о приезде, с его горностаевым мехом казался ей пошлым, почти отвратительным. Но зато никогда еще Кетлинг не был ей так дорог. Дорога была даже самая мысль о нем. Дороги были и его слова, и его милое лицо, дорога была его печаль. И вот придется оторваться от любви, от поклонения, от того, к кому рвется сердце и тянутся руки; оставить любимого человека в отчаянии, в вечной печали и в горе и отдаться душой и телом другому, который уже от одного того, что он другой, становится ей теперь почти ненавистным.

– Я не могу! Я не могу! – повторяла в душе Кшися. И чувствовала то, что чувствует пленница, когда ей связывают руки. Но ведь она сама себя связала, ведь могла же она раньше сказать Володыевскому, что будет ему сестрой, но не больше. Тут ей вспомнился тот поцелуй, на который она ответила. И ее охватил стыд и презрение к самой себе. Разве она тогда любила Володыевского? Нет, в ее сердце не было любви – было только сочувствие, любопытство, кокетство под личиной родственного чувства. Теперь только она узнала, что между поцелуем по любви и поцелуем от волнения крови такая разница, как между ангелом и дьяволом. Вслед за презрением к себе ее охватил гнев, и гордость ее восстала против Володыевского. И он тоже был виноват, почему же страдать должна только одна она? Почему и ему не отведать этого горького хлеба? Разве она не вправе сказать ему, когда он вернется:

– Я ошиблась... Сострадание к вам я приняла за любовь. Ошиблись и вы! Теперь оставьте меня, как я вас оставляю...

Но вдруг, от страха перед местью грозного рыцаря, волосы встали дыбом. Страх не за себя, а за жизнь того, на кого должна была обрушиться эта месть. В воображении ее встал Кетлинг, который выходит биться с этим рубакой из рубак...

Вот он падает, как падает подкошенный косою цветок; она видит его кровь, его бледное лицо, его навеки закрытые глаза. И ее страдания стали невыносимы. Она поспешно встала и ушла в свою комнату, чтобы избежать чужих взглядов, чтобы не слышать разговоров о Володыевском и о его скором приезде. В ее сердце все сильнее закипала злоба на маленького рыцаря. Но скорбь и раскаяние пошли вслед за нею; они не оставляли ее даже во время молитвы; они не оставляли и в постели, когда она легла в нее усталая и измученная.

– Где-то он теперь? – говорила скорбь. – Вот видишь, он до сих пор не вернулся домой. Он бродит в ночи, заламывает руки. Ты бы готова дать ему рай, пролить за него всю кровь свою, а вместо этого ты напоила его ядом, вонзила нож в его сердце...

– Если бы не твое легкомыслие, не желание завлечь первого встречного, – говорило раскаяние, – все могло бы быть иначе, а теперь тебе осталось только отчаяние. Твоя вина, твоя великая вина! Для тебя уже нет спасения, только стыд, боль и слезы!

А скорбь говорила:

– Как он стоял перед тобою на коленях... Странно, что не разорвалось твое сердце... Он смотрел тебе в глаза, умоляя о жалости. Если ты пожалела того, чужого, как же ты могла не пожалеть его, любимого! Боже, благослови его! Боже, утешь его!

– Если бы не твое легкомыслие, он ушел бы теперь радостный, счастливый, – повторяло раскаяние, – и ты могла бы броситься в его объятия и пойти за ним, как избранная жена.

– И вечно быть с ним! – прибавила скорбь.

А раскаяние:

– Твоя вина. А скорбь:

– Плачь, Кшися, плачь!

– Этим вины не загладишь, – убеждало раскаяние.

И снова скорбь:

– Делай что хочешь, но утешь его!

– Володыевский убьет его! – ответило тотчас раскаяние.

Кшисю бросило в холодный пот, и она села на кровать.

Яркий свет луны вливался в комнату, и она в этом свете казалась какой-то странной и страшной.

«Что это? – думала Кшися. – Вон там спит Бася, луна освещает ее лицо, я вижу ее, а я и не знаю, когда она пришла, когда разделась и легла. Ведь я ни минуты не спала. Видно, моя бедная голова уже ни на что не годна...»

Так раздумывая, она опять легла, но скорбь и раскаяние уселись на краю ее постели, точно два призрака, которые то сливались со светом луны, то опять выплывали из серебристых волн...

– Сегодня я совсем не усну, – сказала про себя Кшися.

И она стала думать о Кетлинге и страдала все больше. Среди ночной тишины вдруг раздался жалобный голос Баси:

– Кшися!

– Не спишь?

– Мне приснилось, что какой-то турок пронзил стрелой пана Михала. Господи боже! Это, конечно, сон! Но я вся дрожу как в лихорадке. Помолимся, чтобы Бог отвратил от него несчастье.

У Кшиси молнией мелькнула в голове мысль: «Хоть бы кто-нибудь застрелил его...» Но она тотчас же ужаснулась своей злобы, и хотя ей нужно было употребить сверхъестественные усилия, чтобы в эту минуту молиться о счастливом возвращении Володыевского, она сказала:

– Хорошо, Бася.

Потом они обе поднялись с постелей, голыми коленами стали на пол, залитый лунным светом, и начали молиться. Голоса их то повышались, то понижались. Чудилось, будто комната превратилась в монастырскую келью, в которой две белые монахини творят ночные молитвы...

## XV

На другой день Кшися была уже спокойнее, потому что среди сбивчивых тропинок и дорог она выбрала себе путь хотя и тяжелый, но верный. Вступив на него, она знала, по крайней мере, куда она идет. Прежде всего она решила повидаться с Кетлингом и в последний раз переговорить с ним, чтобы оградить его от всяких случайностей. Ей это удалось нелегко, так как Кетлинг несколько дней не показывался и даже не возвращался на ночь.

Кшися начала вставать до рассвета и ходить в ближайший доминиканский костел, в надежде встретить там Кетлинга и поговорить с ним без свидетелей.

И действительно, несколько дней спустя она встретила его в воротах.

Заметив ее, он снял шляпу и, молча наклонив голову, стоял без движения. Лицо его было измучено бессонницей и страданиями; глаза впали; на висках появились желтые пятна; нежная кожа его стала прозрачна, как воск, и лицо походило на прекрасный увядающий цветок. При виде его у Кшиси сжалось сердце. И хотя каждый решительный шаг стоил ей многого, ибо от природы она была робка, но все же она первая протянула ему руку и сказала:

– Да утешит вас Господь и да пошлет вам забвение!

Кетлинг взял ее руку, прижал ее к воспаленному лбу, потом к губам, и прижимал ее долго, долго, изо всей силы. Наконец, голосом, в котором слышалась безнадежная грусть, он сказал:

– Для меня нет ни утешения, ни забвения.

Была минута, когда Кшисе нужна была вся сила воли, чтобы от горя не броситься к нему на шею и не воскликнуть: «Я люблю тебя больше всего на свете! Возьми меня!» Долго стояла она молча перед ним, удерживая слезы. Она чувствовала, что если даст волю слезам, то не справится с собой. Но, наконец, поборов себя, она начала говорить спокойно, хотя и очень быстро, так как совсем задыхалась:

– Может быть, это принесет вам хоть какое-нибудь облегчение, если я скажу, что не буду ничьей. Я иду в монастырь. Не судите обо мне дурно, ибо я и так несчастна. Обещайте мне, дайте слово, что про вашу любовь ко мне вы не скажете никому, не признаетесь... не откроете того, что было между нами, ни другу, ни родственнику. Это моя последняя просьба. Придет время, когда вы узнаете, почему я так делаю... Но и тогда будьте снисходительны. Сегодня я более ничего не скажу, – мне так тяжело, что не могу... Обещайте мне все это, и это меня утешит, а иначе мне останется только умереть.

– Я обещаю и даю слово, – ответил Кетлинг.

– От всего сердца благодарю вас. Но и при людях старайтесь быть спокойны, чтобы никто ни о чем не догадался. Мне идти пора. Вы так добры, что у меня слов не хватает. Наедине больше не будем видаться, только при людях. Скажите же мне, что вы на меня не сердитесь... Страдание – одно, а гнев – другое... Вы меня уступаете Богу, и никому другому. Помните это.

Кетлинг хотел что-то сказать, но он так страдал, что из груди его вырвался только какой-то неясный звук, похожий на стон; потом он прикоснулся руками к вискам Кшиси и держал так руки несколько минут в знак того, что он ее прощает и благословляет.

Потом они расстались; она пошла в церковь, а он опять на улицу, чтобы не встретиться с кем-нибудь из знакомых.

Кшися вернулась домой только к полудню и, вернувшись, застала там именитого гостя – ксендза подканцлера Ольшовского. Он приехал неожиданно-негаданно с визитом к пану Заглобе, желая, как он сам говорил, познакомиться с столь великим рыцарем, «чьи военные доблести служат примером, а ум – руководителем всему рыцарству сей великолепной Речи Посполитой». Пан Заглоба был изумлен, но в то же время и очень доволен, что удостоился такой чести в присутствии дам; он принял гордый вид, краснел, пыхтел, стараясь в то же время показать



пани Маковецкой, что он привык к подобным посещениям со стороны самых сановных людей и не придает этому никакого значения.

Когда Кшисю представили прелату, она благоговейно поцеловала его руку и села возле Баси, радуясь при мысли, что никто не прочтет на ее лице следов недавнего волнения.

Между тем ксендз подканцлер так щедро осыпал похвалами пана Заглобу, что казалось, будто он достает их из своих фиолетовых, обшитых кружевами, рукавов.

– Не думайте, ваша милость, – говорил он, – что меня привело сюда лишь любопытство и желание познакомиться с первым среди рыцарей, ибо хотя преклонение перед героями есть лишь справедливая дань, но к тем, кто наряду с мужеством вмещает в себе опытность и быстрый ум, люди стремятся и ради своей собственной пользы.

– Опытность, – скромно заметил пан Заглоба, – особенно в военном деле, должна была прийти с годами, и, быть может, потому покойный пан Конецпольский, отец хорунжего, иной раз и обращался ко мне за советом, как и пан Миколай Потоцкий, и князь Еремия Вишневецкий, и пан Сапега, и пан Чарнецкий; что же касается до прозвища Улисс, то я из скромности никогда не соглашался его принять.

– А между тем оно с вами связано нераздельно: иной раз вместо настоящего имени кто-нибудь скажет «наш Улисс», и все сразу знают, о ком идет речь. И вот потому в теперешние столь тяжелые и превратные времена, когда многие не знают, куда обратиться и за кого стоять, я сказал себе: «Пойду узнаю его мысли, отрешусь от сомнений, выслушаю его просвещенный совет...» Вы понимаете, ваша милость, что я говорю о предстоящих выборах, во время которых оценка кандидатов может быть очень полезна, особенно если она исходит из уст такого человека, как вы. Я слышал, что среди рыцарства с восторгом повторяют ваше мнение о нежелательности кандидатуры иностранцев, заявляющих свои притязания на наш великолепный престол. В жилах Ваз (говорили вы будто) текла кровь Ягеллонов, и их нельзя было считать чужими, но эти иностранцы (говорили вы будто) не знают наших старопольских обычаев, и не сумеют они уважать нашу свободу, а это легко может привести к неограниченности монаршей власти. Признаюсь, слова эти очень глубоки, но простите, если я спрошу вас: действительно ли вы их произносили или же общественное мнение по привычке уже приписывает самые глубокие мысли именно вам?

– Свидетельницами – эти дамы, – ответил Заглоба, – и хотя материя эта для них не совсем по плечу, все же раз Провидение, непостижимое в своем предопределении, наделило их даром слова наравне с нами, то пусть они выскажутся.

Ксендз подканцлер невольно взглянул на пани Маковецкую, потом на двух прижавшихся друг к другу девушек.

Настало молчание. Вдруг раздался серебристый голос Баси:

– Я не слыхала.

Потом Бася страшно смутилась и покраснела до ушей, тем более что пан Заглоба сейчас же сказал:

– Простите, ваше преподобие! Молода она еще и легкомысленна. Но что касается иностранных кандидатов, то я не раз говорил, что от них много пострадает наша польская свобода.

– И я этого боюсь, – ответил ксендз Олыдовский, – но если бы мы и захотели избрать одного из Пястов, кровь от крови, плоть от плоти наших, то скажите, в какую сторону должно устремиться наше сердце? Ваша мысль о Пясте – великая мысль, и она, как пламя, разливается по всей стране. Ибо везде, где только депутаты не подкуплены на сеймиках, везде кричат: «Пяста! Пяста!»

– Справедливо! Справедливо! – сказал Заглоба.

– Но все же, – продолжал подканцлер, – легче требовать Пяста, чем найти его, а потому не удивляйтесь, если я спрошу вас, кого именно вы имели в виду?

– Кого я имел в виду? – повторил несколько смущенный Заглоба.

И, оттопырив нижнюю губу, он нахмурил брови. Трудно ему было найти ответ: он не только никого не имел в виду, но у него вообще не было тех мыслей, которые навязал ему ловкий подканцлер. Впрочем, он знал и понимал, что подканцлер хочет его склонить на чью-то сторону, и он умышленно стал медлить с ответом, тем более что это льстило его самолюбию.

– Я только принципиально говорил, что нам нужен Пяст, но, по правде говоря, я никого не имел в виду.

– Слышал я и о честолюбивых замыслах князя Богуслава Радзивилла, – пробормотал, как бы про себя, ксендз Ольшовский.

– Пока я жив и дышу, пока есть хоть капля крови в моей груди, этому не бывать! – воскликнул с глубоким убеждением Заглоба. – Я предпочел бы умереть, чем жить среди народа, который может избрать себе в короли предателя и Иуду.

– Это голос не только ума, но и гражданской доблести, – сказал подканцлер.

– Ага, – подумал Заглоба, – ты хочешь меня провести, проведу и я тебя. А Ольшовский продолжал:

– Куда-то приплывешь ты, разбитый корабль отчизны моей? Какие бури, какие скалы ожидают тебя? Плохо нам будет, если иностранец будет твоим рулевым, но, видно, иначе быть не может, если между нами нет более достойного.

Тут он развел свои белые руки, сверкавшие перстнями, и, склонив голову, сказал с покорностью:

– Итак, Конде, герцог лотарингский или нейбургский... Другого выхода нет...

– Этого быть не может. Пяст! – ответил Заглоба.

– Кто же именно? – спросил ксендз. Наступило молчание.

Затем подканцлер заговорил снова:

– Найдется ли хоть один, на избрание которого все согласятся? Где человек, который сразу пришелся бы рыцарству по сердцу и против избрания которого никто не смел бы роптать? Был у нас великий, заслуженный воин, ваш друг, достойный рыцарь, окруженный славой, как солнечным сиянием... Был такой...

– Князь Еремия Вишневецкий! – перебил его Заглоба.

– Да, но он в гробу...

– Но жив его сын! – ответил Заглоба.

Подканцлер закрыл глаза и некоторое время сидел в молчании; вдруг он поднял голову, посмотрел на Заглобу и медленно заговорил:

– Я благодарю Бога, что он вдохновил меня мыслью познакомиться с вами. Да, жив сын великого Еремии, молодой и полный надежд князь; по отношению к нему Речь Посполитая в неоплатном долгу. Но из его громадного состояния ничего не осталось, кроме славы – его единственного наследства. И в наши испорченные времена, когда глаза всех обращены только туда, где золото, у кого хватит смелости выставить его кандидатуру. Вы? Да! Но много ли найдется таких? Неудивительно, если тот, кто всю жизнь свою был героем всех войн, не устрасится и на сейме взяться за правое дело... Но разве другие последуют его примеру?

Тут подканцлер задумался, поднял глаза и продолжал:

– Бог всемогущ! Кому ведомы его пути? Когда я подумаю, как все рыцарство верит вам, я, к моему изумлению, замечаю, что и в мое сердце вступает надежда. Скажите мне откровенно, ваць-пане, существовало ли для вас когда-нибудь что-нибудь невозможное?

– Никогда! – убежденно ответил Заглоба.

– Но не следует сразу и резко ставить эту кандидатуру. Пусть сначала люди привыкнут к звуку этого имени, пусть оно не явится грозным для противников, пусть лучше над ним посмеются, тогда никто не станет ставить сильных препятствий... Когда противные партии истощат свои силы, пусть эта кандидатура всплывет вдруг наружу... Прокладывайте ей дорогу

медленно и не оставляйте этого дела. Это ваш кандидат, достойный вашего ума и вашей опытности... Благослови вас Бог в ваших замыслах!

– Должен ли я предполагать – спросил Заглоба, – что и вы, ваше преподобие, хлопчете о князе Михале?

Ксендз подканцлер вынул из-за обшлага маленькую книжечку, на которой крупными буквами чернела надпись: «Censura candidatorum», и сказал:

– Читайте, ваша милость, пусть то, что здесь написано, ответит за меня. Сказав это, ксендз подканцлер начал собираться домой, но Заглоба удержал его:

– Позвольте, ваше преподобие, ответить вам еще одно: прежде всего я благодарю Бога, что малая печать находится в таких руках, которые умеют заставлять сердца людей таять, как воск...

– Как так? – спросил удивленный подканцлер.

– Во-вторых, я заранее говорю вашему преподобию, что кандидатура князя Михала мне очень по сердцу: я знал и любил его отца, и под его началом дрался вместе с моими друзьями, которые тоже очень обрадуются при мысли, что они и сыну будут в состоянии выказать ту же любовь, какую питали к его великому отцу. А потому я обеими руками хватаюсь за эту кандидатуру и еще сегодня поговорю с паном подкоморием Кшицким, человеком весьма знатного рода и моим хорошим знакомым, который пользуется немалой любовью у шляхты, ибо трудно его не любить. Мы оба будем хлопотать по мере сил наших и, даст Бог, чего-нибудь достигнем...

– Да ведут вас ангелы Господни! – ответил ксендз. – Если так, то дело уже сделано.

– Позвольте, ваше преподобие. Я должен сказать еще одно. Я не хочу, чтобы вы думали так: «Свои собственные мысли я вложил ему в рот, вбил ему в голову, – будто он собственным умом дошел до мысли о кандидатуре князя Михала. Короче сказать, я его, простака, за нос провел». Ваше преподобие! Я буду способствовать кандидатуре князя Михала, потому что он мне по сердцу, – вот что. Буду способствовать ради княгини вдовы, ради моих друзей, ради доверия и уважения, которое я питаю к тому уму (тут пан Заглоба поклонился), из которого вышла Минерва, но не потому, что я позволил вбить себе в голову, как маленькому ребенку, будто это мое изобретение, и не потому, что я глуп, а потому, что если умный человек говорит что-нибудь умное, то старый Заглоба скажет: я согласен...

Тут шляхтич еще раз поклонился и замолчал.

Ксендз подканцлер сначала сильно смутился, но, видя добродушное настроение шляхтича, а также и то, что дело принимает желательный оборот, рассмеялся от всей души и, схватившись за голову, стал повторять:

– Улисс, ей-богу, настоящий Улисс! Пане-брат, кто хочет чего-нибудь добиться, должен непременно хитрить с людьми, но с вами, я вижу, надо действовать напрямик. Вы мне ужасно пришили по сердцу.

– Как мне князь Михал!

– Да пошлет вам Бог здоровья! Ха! Вы меня разбили, но я рад! А этот перстень, если бы он мог пригодиться на память о нашем сегодняшнем разговоре...

Заглоба ответил:

– А этот перстень пусть остается на своем месте.

– Сделайте это для меня...

– Ни в коем случае. Разве в другой раз... когда-нибудь потом... после выборов...

Ксендз подканцлер понял и больше не настаивал. Все же он ушел с сияющим лицом.

Пан Заглоба проводил его даже за ворота и, возвращаясь, бормотал:

– Гм! Проучил я его. Нашла коса на камень!.. А все же честь немалая. Сюда теперь, к этим воротам, сановники толпами будут съезжаться. Любопытно знать, что думают об этом дамы?

Дамы, действительно, не помнили себя от удивления, и пан Заглоба вырос, особенно в глазах пани Маковецкой, до потолка. Едва он показался, она крикнула восторженно:

– Мудростью вы Соломона превзошли, ваць-пане!

Заглоба очень обрадовался.

– Кого превзошел, вы говорите? Погодите, вы здесь увидите и гетманов, и епископов, и сенаторов. Отбою от них не будет, прятаться придется!

Дальнейший разговор был прерван появлением Кетлинга.

– Кетлинг, хочешь повышения?! – воскликнул пан Заглоба, упоенный своим собственным значением.

– Нет, – ответил с грустью рыцарь, – мне снова придется надолго уехать. Заглоба посмотрел на него пристально.

– Что это ты точно с креста снятый?

– Именно потому, что уезжаю.

– Куда?

– Я получил письма из Шотландии от старых друзей моего отца и моих. Дела требуют моего присутствия, быть может, надолго... Жаль мне расстаться с вами, но я должен.

Заглоба вышел на середину комнаты, посмотрел сначала на пани Маковецкую, потом на девушек и спросил:

– Вы слышали? Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

## XVI

Хотя пан Заглоба был очень изумлен известием об отъезде Кетлинга, но никаких подозрений у него не было. Легко можно было допустить, что Карл II, вспомнив услуги, оказанные родом Кетлингов престолу в прежнее время, пожелал теперь отблагодарить последнего потомка этого рода. Было бы даже странно, если бы было иначе. Наконец, Кетлинг показал пану Заглобе какие-то заморские письма.

Но в то же время отъезд Кетлинга расстраивал все планы старого шляхтича, и он с тревогой думал: что же будет дальше? Володыевский, судя по его письму, мог вернуться с часу на час.

«А ветры степные, вероятно, развеяли остаток его скорби, – думал Заглоба. – Он сейчас же наберется смелости и сделает Кшисе предложение. А потом... Потом Кшися согласится, ибо как же отказать такому рыцарю, как он, да еще брату Маковецкой? И бедный, милый гайдучок останется ни при чем...»

Пан Заглоба с упрямством, свойственным старым людям, решил во что бы то ни стало соединить Басю с маленьким рыцарем.

Не помогли ни доводы Скшетуского, ни его собственное решение не вмешиваться в это дело. По временам он действительно обещал себе не вмешиваться, но затем невольно с еще большим упорством возвращался к своей прежней мысли соединить эту пару. Он целыми днями думал, как лучше приняться за это, строил планы, придумывал хитрости. И когда ему казалось, что он нашел верный путь, он воскликнул вслух, точно дело уже было слажено:

– Да благословит вас Бог!

Но теперь он увидел, что все его планы вдруг рухнули. Осталось только одно: отказаться от всех усилий и предоставить будущее на волю Божью, ибо даже эта маленькая надежда, что Кетлинг перед отъездом предпримет какой-нибудь решительный шаг по отношению к Кшисе, недолго оставалась в голове Заглобы; и только из сожаления и любопытства он решился выведать у молодого рыцаря о дне его отъезда и о том, что он намерен делать прежде, чем покинуть Речь Посполитую.

Позвав его, Заглоба спросил его с опечаленным лицом:

– Делать нечего! Каждый лучше знает, что ему надо делать, и я не буду тебя уговаривать остаться здесь, но мне хочется знать, когда ты вернешься...

– Разве я могу отгадать, что меня ждет там, куда я еду, – отвечал Кетлинг, – какие дела, какие случайности? Вернусь, если смогу, останусь навсегда, если буду вынужден.

– Вот увидишь, тебя сердце будет тянуть к нам.

– Дал бы Бог, чтобы могила моя была на этой земле, которая дала мне все, что могла дать.

– Вот видишь! В других странах чужеземец до самой смерти остается пасынком, а наша мать сразу раскрыла тебе объятия, как родному сыну.

– Правда, святая правда! Эх, если бы только я мог... Со мной все может случиться в старой отчизне, только счастья не случится.

– Ха! Я говорил тебе: устройся, женись, ты не хотел меня слушать. А будучи женатым, если бы даже ты и уехал, то должен был бы вернуться. Ведь не стал бы ты, полагаю, жену увозить за море. Я тебя уговаривал, да что же, ты не хотел меня слушать.

Тут пан Заглоба стал внимательно смотреть в лицо Кетлингу, ожидая от него каких-нибудь объяснений, но Кетлинг молчал, опустив голову, и уставился глазами в пол.

– Что ты на это скажешь? Хе? – говорил минуту спустя Заглоба.

– Это было невозможно! – ответил медленно молодой рыцарь.

Заглоба начал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед Кетлингом, заложил руки назад и сказал:

– А я тебе говорю, что возможно. Если это неверно, то пусть мне никогда больше не придется опоясываться вот этим поясом. Кшися – твой друг.

– Даст Бог, что и всегда будет другом, хотя нас и разделит море.

– Ну так что же?

– Ничего больше! Ничего больше!

– Ты с ней объяснился?

– Оставьте меня в покое. Мне уж и так грустно, что я уезжаю.

– Кетлинг, хочешь, я спрошу ее, пока время?

Кетлинг подумал, что если Кшися так желала, чтобы их чувства остались тайной, то, может быть, она будет рада опровергнуть их открыто, а потому он сказал:

– Я вас уверяю, что это ни к чему не поведет, и я так в этом уверен, что сделал все, чтобы заглушить в себе это чувство, но если вы надеетесь на чудо, то спрашивайте.

– Гм! Если ты заглушишь свое чувство к ней, – сказал с горечью пан Заглоба, – то мне уж действительно делать нечего. Только позволь тебе сказать, что я считал тебя человеком более степенным.

Кетлинг встал и, с жаром подняв обе руки вверх, ответил с несвойственной ему поспешностью:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.